

# ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2004–2005

№18

Секция языка и литературы РАН  
Институт научной информации по общественным наукам РАН  
Издается с 1993 года

## К 200-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ Ф.И. ТЮТЧЕВА

Исследования и материалы

### СОДЕРЖАНИЕ

<b>В.Н.Аношкина.</b> Мировоззрение и слово поэта: Современные проблемы изучения поэтического наследия Тютчева .....	3
<b>Л.Ф.Алексеева.</b> Восприятие тютчевских открытий поэтами начала XX века .....	26
<b>Г.В.Чагин, Л.Е.Петрова.</b> Служба в российской цензуре .....	45
<b>В.П.Зверев.</b> О взаимоотношениях Ф.И.Тютчева и Ф.Н.Глинки .....	79
<b>О.Г.Егоров.</b> Литературный портрет в дневнике А.Ф.Тютчевой .....	121
<b>М.В.Яковлев.</b> Тютчев в художественном сознании М.А.Волошина и Д.Л.Андреева .....	133
<b>Т.Ю.Максимова.</b> Тютчев и М.И.Цветаева .....	144
<b>Т.В.Федосеева.</b> Тютчев в творческой судьбе поэтессы Е.К.Остен-Сакен .....	172

### Поэтика русского стиха

Словарь рифм Ф.И.Тютчева / Составление И.А.Киселёвой, Л.Е.Петровой, Л.С.Саломатиной .....	183
Словарь языка французских стихотворений Ф.И.Тютчева / Составление Б.В.Орехова .....	264

### История литературы

<b>О.Н.Редина.</b> Роман-предупреждение («Обезьяна и сущность» О.Хаксли) .....	278
---	-----

---

**Библиография**

Статьи о литературе и культуре в газете «Последние новости» (Париж, 1920–1940) / Составление Н.Ю.Симбирцевой, Т.Г.Петровой .....	289
<b>Хроника литературной жизни русского зарубежья</b>	
Эстония (1918–1924) / Составление С.Г.Исакова .....	370
<i>Заметки Кота Учёного</i> .....	419
<u>Р.И.Хлодовский (1923–2004)</u> .....	422
Коротко об авторах .....	423

**В.Н.Аношкина**

**МИРОВОЗЗРЕНИЕ И СЛОВО ПОЭТА:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ТЮТЧЕВА**

А.А.Фет определил проблемную ситуацию поэтического наследия Ф.И.Тютчева: «Вот эта книжка небольшая / Томов премногих тяжелей». Небольшой количественный объем стихотворений поэта, но необычайная глубина мыслей, неисчерпаемость содержания и полуторавековая история стремлений постичь и измерить глубину поэтических смыслов его стихов.

Определение Тютчева как «поэта мысли», заявленное уже в первых отзывах о нем Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, С.С.Дурышкина, а затем И.С.Аксакова, Л.Н.Толстого, В.С.Соловьева и перешедшее в XX век, оказалось проблемным в разных отношениях. Была ли у Тютчева в полном смысле слова мировоззренческая система, или его поэзия содержит разрозненные мысли-чувства, мысли-образы, как внезапные откровения? Многие исследователи Тютчева избегают употреблять по отношению к его взглядам и убеждениям понятие «система», подразумевая под ней, видимо, умозрительные философские построения типа тех, что созданы Кантом, Шеллингом, Гегелем; такой «системы» у него, конечно, нет. Однако мировоззрение (а это и есть система

взглядов на мир, упорядоченность, логическая взаимосвязанность убеждений) у Тютчева формировалось сознательно-целестремленно путем напряженной интеллектуальной деятельности и в процессе общения со знаменитыми мыслителями той поры, а также путем каких-то интуитивных и интуитивно-поэтических, образных откровений, романтического ясновидения. Все вместе взятое имело следствием целостность его мировоззрения или мирозерцания. Корень этих слов один – «зрение», «озерцание» мира. Тютчев отлично понимал конкретный и обобщенно-философский смысл этих слов, поэтому постоянно призывал в стихах: «Смотри, как облаком живым / Фонтан сияющий клубится...»<sup>1</sup>; «Смотри, как на речном просторе...»; «Смотри, как листьям молодым / Стоят обвеяны березы...»; «На месяц глянь...»; «Гляжу с участием умиленным...». Он порицал не видящих и не слышащих: «Они не видят и не слышат, / Живут в сем мире, как в потьмах...». От видения, восприятия мира Тютчев шел к обобщениям и выводам о его сущности.

Последовательно выделял роль сознательного начала в поэтическом творчестве Тютчева В.С.Соловьев: «Его ум был вполне согласен с вдохновением: поэзия его была полна сознанной мысли, а его мысли находили себе только поэтическое, т.е. одушевленное и законченное выражение»<sup>2</sup>. И снова: «Убеждение в истинности поэтического воззрения на природу и вытекающая отсюда цельность творчества, гармония между мыслию и чувством, вдохновением и сознанием, составляет преимущество Тютчева даже перед таким значительным поэтом-мыслителем, как Шиллер...»<sup>3</sup>. Статья Соловьева направлена на уяснение этой «цельности творчества», осознанной философской позиции Тютчева.

Понятием «система» применительно к творчеству Тютчева пользуется Ю.М. Лотман, связывая такое словоупотребление с обозначением творчества поэта как «единого текста». Но Ю.М.Лотман оговаривается, указывая на то, что язык Тютчева, как и любой другой, «не представляет собой единой, расположенной в одной плоскости системы; его нельзя “доорганизовывать”»<sup>4</sup>. Это существенная оговорка, преду-

преждающая против жесткого логического подхода к рассмотрению поэзии Тютчева.

Если говорить о последних трудах, посвященных философским воззрениям Тютчева, то следует назвать работы Б.Н.Тарасова<sup>5</sup>, который изучает «историческую систему» Тютчева, «логику» его мысли, его «Standpunkt» – теоцентрическую идею, которая составляет «скрытую основу натурфилософской или любовной лирики, исторических или политических раздумий поэта»<sup>6</sup>. Исследуя мировоззрение Тютчева, Б.Н.Тарасов говорит о «непростой задаче» уяснения уровней творчества поэта, с их совмещением и наложением осознанного и неосознанного.

Уже современники определили существо тютчевского мировоззрения как пантеизм. По-видимому, впервые понятие «пантеизм» применительно к поэзии Тютчева было употреблено в журнале «Всемирная иллюстрация»<sup>7</sup>: «Тютчев, по преимуществу, поэт природы, пантеистический (не в смысле философском, но в смысле поэтического воззрения) взгляд на природу обнаружился в нем с самого вступления его на поэтическое поприще». Рецензент процитировал первую строфу стихотворения «Не то, что мните вы, природа...» и присовокупил: «Эти четыре стиха лучше всяких толкований объясняют *суть* поэтического склада Тютчева»<sup>8</sup>. Такое понимание тютчевского пантеизма, с подобным уточнением, нередко оказывается приемлемым и для современных исследователей творчества поэта.

Хотя В.С.Соловьев не употребил понятия «пантеизм» применительно к Тютчеву, произведенный анализ стихотворений утверждал пантеистическую идею. Е.Н.Трубецкой уяснил непростую ситуацию с пантеизмом в воззрениях В.С.Соловьева: «Отношение к пантеизму <...> в русской литературе представляет собою большое место метафизики Соловьева»<sup>9</sup>. Если сам мыслитель противопоставлял свое учение «пантеистической философии» и стремился преодолеть ее (к этому шел и Шеллинг), но как и последний остался «под влиянием противника»<sup>10</sup> (пантеизма). Это влияние Трубецкой усматривал в признании того, что «сущее есть “единый объект всякого познания”»<sup>11</sup>; отрицается возможность

реального и объективного существования внебожественного мира; вне Бога нет бытия, и эта мысль, бесспорно, – уступка пантеизму. К.Д.Бальмонт подтвердил мысль Соловьева о том, что Тютчев верит в одухотворение природы, а не использует механически традиционный поэтический прием: «Никогда этого не может случиться с истинным поэтом-пантеистом. У Гёте, у Шелли, у Тютчева убеждение в том, что Природа есть сущность одухотворенная, гармонически сливается с поэтическим их творчеством, рисуя Природу живой. Тютчев искренно верит, более того, он *знает*, что Природа не бездушный слепок, а великая живая цельность <...> лишь немногим эпохам и немногим личностям свойственно это тонкое проникновение в жизнь Природы и религиозное слияние с ней»<sup>12</sup>. Бальмонт противопоставил подобный взгляд системе позитивной философии. В.Я.Брюсов также понимает «широкий пантеизм» Тютчева как «миросозерцание», в основе которого лежит признание «души природы»<sup>13</sup>.

Проблема пантеизма в современной философской мысли еще не получила последовательного и однозначного решения. Выделяют два основных направления размышлений о природе и Боге: «натуралистическое» (как бы растворение Бога в природе, отрицание личного Бога) и мистическое (растворение всего сущего в Боге); но есть и третье – причудливое переплетение того и другого, пантеистическо-теософские построения и натуралистические представления вместе с «космогоническими фантазиями», что свойственно особенно Я.Бёме<sup>14</sup>.

Стремясь осмыслить философские истоки онтологических представлений Тютчева, приходится учитывать целый ряд обстоятельств его духовной, интеллектуальной жизни, в том числе национальных и семейных традиций. Тютчев с самого начала и до конца своей жизни предстает как православный мыслитель. Хотя, по свидетельству И.С.Аксакова, Тютчев за границей сложился как мыслитель, «чуждый православных обыкновений», Аксаков привел и целый ряд фактов, говорящих о причастности к ним поэта: отрадное пребывание в «уголке» православного слуги Н.А.Хлопова, почи-

тание его иконы Феодоровской Божией Матери, посещение часовни, где находилась чудотворная икона Иверской Божией Матери (в 1843 г.), посещение обедни, молебна и участие во всем, что требует «самое взыскательное православие»<sup>15</sup>; биограф засвидетельствовал преданность сына православным традициям жизни его матери, душевно ему близкой. Тютчев слушал проповеди митрополита Филарета московского.

В то же время говорить о пантеизме Тютчева побуждает та интеллектуальная среда, в которой оказался поэт за границей: известен пантеизм Шеллинга (особенно молодого), Гёте, Гердера, Тютчев спорил с Шеллингом о соотношении веры и философии. Переводы стихотворений Гёте преобладают в его переводческой деятельности. В них звучат пантеистические идеи и настроения. Тютчев переводил также Гердера; пантеистические тенденции есть и у Ламартина, которого также почитал молодой поэт. Это была эпоха, по определению Ф.Шлегеля и Шеллинга, «нечеловеческого пантеистического безумия»<sup>16</sup>, которое следовало бы преодолеть. Ситуации споров вокруг «пантеизма» отразили стихотворения «Не то, что мните вы, природа...» и «Нет, моего к тебе пристрастья...». Поэт в 1820–1830-х гг. пропел гимн Матери-Земле. С пантеизмом поэзию Тютчева тех лет сближали идеи одухотворения природы («в ней есть душа»), ее человеко- или богоподобия, видение «духов», населяющих Вселенную («На мир таинственный духов...», «Таков горь – духов блаженных свет...»; «Дух жизни, силы и свободы / Возносит, обвевает нас!...»), внимание к природным стихиям воды, воздуха, огня, антично-языческие реминисценции<sup>17</sup>. Все это и побуждало называть Тютчева пантеистом. Однако сам себя он так не именовал; он признавал личного Бога («И Божий лик изобразится в них!» – «Последний катаклизм»), молился ему и в стихах.

Во второй половине XIX в. пантеизм вызывал негативную реакцию со стороны христианской церкви, и Ватиканский собор 1869–1870 г. в «Декрете о догматическом установлении римской веры» осудил пантеизм, поставив его в один ряд с новейшим рационализмом, материализмом, ате-

измом. Тютчев, по-видимому, в начале 1860-х годов в письме к Д.Н.Блудову<sup>18</sup> отозвался о Я.Бёме под влиянием общей негативной атмосферы по отношению к пантеизму. Поэт довольно категорично определил философские позиции Я. Бёме: «Он, так сказать, точка пересечения двух наиболее противоположных учений – Христианства и Пантеизма. Его можно было бы назвать христианским пантеистом, если бы сочетание двух этих слов не заключало в себе вопиющего противоречия...». Однако опыт художественного творчества самого Тютчева это противоречие все же преодолел. Он всегда был православным христианином, а в поэтических образах и картинах оказался связанным с «пантеизмом». Сам пантеизм в истории человеческого мирозерцания мог принимать разные содержательные формы: в Древнем мире он восходил к языческим верованиям; в Средние века был по-разному связан с христианством или противостоял ему, философский пантеизм (типа раннего Шеллинга) имел иную мировоззренческую основу, «поэтический пантеизм» Тютчева – особое явление. Он мог существовать на христианской религиозной основе. В.А.Жуковский, не являясь пантеистом, в стихотворении «Невыразимое» (1819) в панегирических интонациях начал славить природу: «Что наш язык земной пред дивною природой?» Но «диво» природы он возвел к творчеству Всевышнего: поэт утверждал в стихах «сие присутствие Создателя в созданье...» Видимо, так мыслил и Тютчев, поэтому он порицал отчуждение природы от первоначальных Творческих Сил (отрицал идею «игры» «внешних, чуждых сил» в природе – «Не то, что мните вы, природа...»). Для Тютчева Жуковский тоже был «учителем», как и для многих других поэтов. Однако следует отметить, что большинство тютчевских употреблений слов «божественный», «бог» в современных ему изданиях и ближайших посмертных было изменено; слова заменялись: «Божественный стыдливостью страданья» – на: «Возвышенный стыдливостью страданья» («Осенний вечер»); «Он завесу расторг божественной рукой...» – на: «Ты завесу расторг всеильною рукой...» («Колумб»); «По высям творенья, как бог, я шаггал...» – на: «По высям творенья, как дух, я летал...», или: «я



гордо шагал...» («Сон на море»); «И ты, как бог разоблаченный...» – на: «И как Эдем ты растворенный...» («Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...»)<sup>19</sup>. Пантеистического типа зарисовки оказались неприемлемы для печати, и они были заменены. Но на втором этапе творчества, когда Тютчев работал в цензурном комитете и в его «Отчетах» содержалось философское осуждение пантеизма, в стихах исчезают заметные связи с этим философским направлением, а православные убеждения и верования поэта получают открытое и страстное выражение.

Глубокий философский ум Тютчева, его самобытное мирозерцание только отчасти получило реализацию в публицистических работах, в письмах, а больше всего в поэзии, в личном общении с людьми, в разговорах – знаменитой «тютчевiane», которая, конечно, далеко не в полной мере дошла до наших дней. Поэт отчетливо осознавал ненадежность умопостижимого – «умом... не понять» не только Россию, но и многое другое; невозможно «допроситься ответа» на многие исконные вопросы о бытии, о первопричинах движения, о природе-сфинксе. Поэтому в поэзии Тютчева столь значительное место занимает категория «таинственного», «чудного», «дивного». «Можно верить» – это принципиальная установка, имеющая широкое значение и касающаяся не только России. Уму противопоставлена вера. У старых пантеистов типа Я.Бёме ясно выражена попытка умом постичь замыслы Всевышнего и рассказать о картине мира, что получалось архаически-наивно, противоречиво и не было лишено «загадок», «проблем», «вопросов», на которые и Тютчев через столетия не мог допроситься ответа.

К таинственным проблемам бытия относятся представления о «бездне», о «хаосе», о соотношении добра и зла в истоках мира. В. Соловьев усматривал в поэзии Тютчева представление о «темном корне мирового бытия»<sup>20</sup>: «Хаос, т.е. отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восстающие против всего положительного и должного, – вот глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания»<sup>21</sup>.

Видимо, нужно отнести к глубочайшим заблуждениям В.Соловьева мысль о демонической сущности мировой души и основы мироздания. В этом видна измена философа христианским, православным верованиям. Примененная к Тютчеву (идея «темного корня» мирового бытия), она вносит глубокое искажение в его мирозерцание. Согласно Соловьеву, поэт утверждает не благое, Божественное первоначало, а темное, демоническое. Однако поэзия Тютчева совершенно не дает основания для такого вывода. Соловьев обнаружил одно стихотворение у Тютчева, в котором появилось упоминание о «демонах», считая его характерным – «Ночное небо так угрюмо...»:

*Одни зарницы огневые,  
Воспламеняясь чередой,  
Как демоны глухонемые,  
Ведут беседу меж собой.*

(II, 151)

Символисты, в том числе и В.Я.Брюсов, увлеченные идеей «темных корней бытия» в мирозерцании Тютчева, повторяли Соловьева. Но уже в 1912 г. С.Адрианов поспорил с Брюсовым, выясняя истинное отношение поэта к ночному хаосу и светлому дневному началу: «Ясно, значит, что ночь, хаос есть нечто враждебное натуре Тютчева. Где же его друг? Он нам сам это сказал: “День, земнородных оживленье, / Души болящей исцеленье, / Друг человеков и богов!”». Именно при встрече с днем, при созерцании того «покрова златотканного», который он набрасывает на «безымянную бездну», на бездну хаоса восторгом вспламеняется душа Тютчева и радостными гимнами в честь мироздания гремит он. Тут его осанна истинному Богу его»<sup>22</sup>. Но и образ «покрова» в поэзии Тютчева очень часто интерпретируется односторонне. Ведь у него не только день – «блистательный покров» над бездной ночи, но и сама ночь – не более как «завеса» на всемогущем дне: «На мир дневной спустилася завеса...» («Как сладко дремлет сад темнозеленый...»). Ночные «чары» ненадежны: «Но Восток лишь заалеет, / Чарам ги-

бельным конец...» («Альпы»). Ночь отнюдь не ассоциирована в поэзии Тютчева с извечными и прочными основами бытия, ведь ночь у него – подобие «пару»:

*Но не пройдет двух – трех мгновений,  
Ночь испарится над землей,  
И в полном блеске проявлений  
Вдруг нас охватит мир дневной...*

«Декабрьское утро», 1859 (II, 95)

Поэты символизма указывали на то, что Тютчев даже в полдень усматривает какую-то «мглу», якобы темное начало («мир... во мгле полуденной почил» – «Снежные горы»), но ведь и сквозь ночь он вместе с Гейне прозревает дневной свет:

*Но все грезится сквозь немую тьму –  
Где-то там, над ней, ясный день блестит  
И незримый хор о любви гремит...*

«Мотив Гейне», 1868 (II, 193)

Поэт в аллегорической картине – «Молчит сомнительно Восток...» – создал широко охватывающий его поэзию образ: «Раздастся благовест всемирный / Победных солнечных лучей». У него и хаос «родимый», но и огонь тоже наделен этим эпитетом: «Как пляшут пылинки в родимом огне».

Однако С.Л.Франк, оттолкнувшись от идеи В. Соловьева, предложил свой вариант истолкования соотношения темных и светлых начал в мирозерцании Тютчева. Он развил свою концепцию в истолковании конкретных тютчевских стихотворений. В поэтическом образе Альп философ увидел присущее Тютчеву понимание соотношения двух начал – тьмы и света: «В этих стихиях мы имеем, таким образом, два противоположных и враждебных друг другу начала. Но, с другой стороны, – и в этом обнаруживается общая пантеистическая основа этой двойственности – эти начала оба божественны, прекрасны, привлекательны»<sup>23</sup>. По мнению философа, Тютчев в самом «всеедином» усматривал два

начала – светлую и темную стихии, и Франк говорил о «дуалистическом пантеизме» поэта, который проявился в стихотворениях конца 1820-х – первой половины 1830-х годов: «О чем ты воешь, ветер ночной...», «Сон на море», «Тени сизые смешались...». Особенно определенно Франк выразил свое понимание основ тютчевского мирозерцания в комментариях к стихотворению «День и ночь»: «Космическое чувство Тютчева влечет его к метафизическому миропониманию, подобному воззрениям Якова Бёме и Шеллинга, усматривавшим хаос, темное, бесформенное, роковое начало в пределах самого Божества; вселенское бытие внутренне двойственно, ибо двойственность принадлежит и самому всеединству, взаимосвязана в нем так, как день и ночь, восток и запад в своей разделенности и враждебности связаны между собою в природе»<sup>24</sup>.

Ортодоксальное православие отвергает идею совмещения Божественного Света и демонической тьмы, Добра и Зла. История мировой культуры была направлена на различение людьми Добра и Зла, отделения их друг от друга, хотя демоническое зло, как давно отмечено, умело надевать маску, использовать оборотничество, выступать в личине для искушения и гибели людей. Тютчев, дитя XIX в., нигде не давал основания демонический Хаос возводить к Творцу Света, Добра и Красоты. «Две беспредельности», два контраста – День и Ночь, Космос и Хаос – запечатлены Тютчевым в поэзии. Взаимодействуют в мировом бытии Космос и Хаос – упорядоченный светлый одухотворенный мир Матери-природы и бестелесный, бесформенный, находящийся вне времени и пространства Хаос. У Тютчева Мать-земля наделена этическими определениями: в ней есть душа, любящая и свободная, говорящая и поющая, понятная тем, кто хочет видеть и слышать. А Хаос иррационален, бесформен, бестелесен, тьмен, страшен и губителен для всего живого, но он не лишен движения (он «роится» и «шевелится» как «мир теней»). В человеке, испорченном грехопадением, сочетаются оба начала – материнское, благодатное, несущее в себе Божественное одухотворение, и темное, хаотическое. У Тютчева Хаос – также «родимый», участвующий в рождении человека: «О,

страшных песен сих не пой / Про древний хаос, про родимый...» («О чем ты воешь, ветер ночной...»).

Философам-пантеистам свойственно стремление размышлять о Боге и заявлять о возможности «открытого познания»<sup>25</sup>. Тютчев в поэзии не касается святая святых – личности Творца. Для поэта его постижение – молитвенно, а не рассудочно. Критикуя в публицистике католицизм и протестантизм, в поэзии он выразил скорее глубокое уважение к моменту молитвенного общения со Всевышним в стихотворении «Я лютеран люблю богослуженье...» (1834). Здесь проявилось глубоко христианское качество личности Тютчева – его веротерпимость, ведь обе жены поэта не были православными. Он не отказывал человеку иной веры в молитвенном прикосновении к личности Бога, в духовном разговоре с ним. Вообще молитвенные исповедальные мотивы значительны в поэзии Тютчева, и это отмечено исследователями. В сфере словесно невыразимого находится молитвенное общение с Богом; таково состояние «Silentium!»<sup>26</sup>.

Тютчевская веротерпимость, уважение к иному человеческому восхождению к Богу проявились и в стихотворении «Олегов щит» (1829). В журнале «Галатея», издателем которого был учитель Тютчева С.Е.Раич, напечатан вариант, по видимому, связанный с авторским текстом; здесь передается «молитва»<sup>27</sup> магометан: «Алла, пролей на нас свой свет! / Краса и сила Православных, / Бог истинный, Тебе нет равных, / Пророк твой Магамед!...»<sup>28</sup>. Как видим, употреблено даже слово «Православных» по отношению к магометанам, воспроизведена точка зрения иноверцев, но впоследствии стихотворение печаталось с новым вариантом этой строфы: «Аллах! Пролей на нас твой свет! / Краса и сила правоверных! Гроза гяуров лицемерных! / Пророк твой – Магомет!...». Истоки правки неизвестны.

Исходный религиозно-философский принцип поэта: Бог един для всех, но молятся ему верующие по-разному, и поэт уважительно относится к сокровенному акту общения со Всевышним каждого человека и народа в целом. Но как историк и политик-патриот он приветствует торжество истинного Православия славян.

\* \* \*

Проблема своеобразия тютчевского поэтического слова, актуализированная в наше время, также имеет свою историю. Уже современники поэта – Н.А.Некрасов<sup>29</sup>, И.С.Аксаков<sup>30</sup>, Л.Н.Толстой<sup>31</sup> – отмечали поразительное у человека, долго жившего за границей, знание русского языка. Восхищались поэтическим мастерством Тютчева, красотой его слов. Специально размышлял над своеобразием художественного языка Тютчева В.Я.Брюсов<sup>32</sup>, полагая, что не традиции поэзии прошлых лет он продолжал, а ввел новые приемы – импрессионистические – работы над словом. Профессионально как языковед-специалист изучала его поэтический язык А.Д.Григорьева. В ее книге «Слово в поэзии Тютчева» (М., 1980) учтены мнения Ю.Н.Тынянова, Л.В.Пумпянского, Л.Я.Гинзбург, Д.Д.Благого и других исследователей языка Тютчева первой половины XX в. А.Д.Григорьева аналитически описала лексику и фразеологию поэта, рассмотренные в рамках замкнутого стихотворного текста<sup>33</sup> и взятые из трех (выделенных исследовательницей) разновидностей его творчества: «лирики природы», «любовной лирики», «медитативной лирики».

Философское или, скорее, религиозно-философское направление<sup>34</sup> в новейшем литературоведении побуждает определить исходные принципы тютчевского отношения к Слову (он часто писал с большой буквы). Сам поэт неоднократно говорил в стихах о Слове, видно, жило в его сознании: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Еванг. от Иоанна. Гл. I. 1), «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Еванг. от Иоанна. Гл. I. 4). В стихотворении «11-ое мая 1869» поэт процитировал:

*Учило нынче нас Евангельское Слово  
В своей священной простоте:  
«Не утаится Град от зренья людского,  
Стоя на Горней высоте».*

(II, 200)

В тютчевской поэзии вырисовывается линия: Просвещение – Свет – Слово – Бог; осуществляется восхождение к Творцу. В «Урании» (1820) он славит «благое просвещение», носителями которого являются великие мировые поэты: «Певцы бессмертные вещают Бога вам». Тютчев в духе классицистской оды стилизует под античность, под поэзию XVIII в. свою речь, украшая ее аллегориями – Мир, Суд правый, Страх Божий, Благосердие, Верность, Любовь к отчизне, Доблесть, Терпение, Труд; они и есть носители «благого просвещения». Такое духовно-нравственное просвещение, вобравшее в себя великие христианские заповеди, движется, судя по его стихотворению, с Запада на Восток. Носители его – мастера художественного слова, а из русских – Ломоносов и Державин; венцом же представлен «Царь-герой», Александр I, окруженный гениями и музами. В конце во многом программного для раннего Тютчева стихотворения подытоживается и закрепляется мысль о «гении просвещения», несущем «свет обновления» жизни, благодаря постоянному восхождению к Вере, «к своей божественной мете». В дальнейшем творчестве поэт конкретизирует эти мысли, освобождая их от архаических словесных форм. В посвящении «К оде Пушкина на Вольность» Тютчев снова заявляет о высоком назначении слов, речей поэта: «Вещать тиранам законным / Святыя истины...» У Тютчева постоянна мысль о том, что содержанием слов должно быть «высшее сознание», он имел в виду идеи державной целостности русского православного государства и какие-либо высшие духовно-нравственные ориентиры. Сочетание «русское Слово» повторяется в разных вариантах, выражая сущностное жизненное назначение человека: «За Знаменем русским и русское Слово / К тебе, как родное к родному, пришло...» («Знамя и Слово», 1842, адресовано Фангагену фон Энзе); «Что русским словом столько лет / Вы славно служите России» («А.Ф.Гильфердингу», 1869). Использование слова как служения «земле своей родной» Тютчев чаще всего обнаруживает у писателей, у деятелей на филологическом поприще. Продолжая идеи «Урании», он в специальном стихотворении

о значении Ломоносова усмотрел именно в его филологически-просвещенческой деятельности высший смысл:

*Он, умирая сомневался,  
Зловещей думою томим...  
Но Бог, недаром, в нем сказался –  
Бог верен избранным Своим.*

*Сто лет прошли в труде и горе –  
И вот, мужая с каждым днем,  
Родная Речь, уж на просторе,  
Поминки празднует по нем.*

.....

*Да, велико его значенье –  
Он, верный Русскому уму,  
Завоевал нам Просвещенье –  
Не нас поработил ему...*

«Он, умирая сомневался...», 1865 (II, 138)

Для Тютчева расхожее, профанное слово утрачивает интерес, и он как поэт тяготеет к Слову высокому, сакральному, утверждающему служение высшим ценностям:

*Тому, кто с верой и любовью  
Служил земле своей родной –  
Служил ей мыслию и кровью,  
Служил ей словом и душой.*

1856 (II, 77)

Провидение покровительствует такому служению. Тютчев отнюдь не обесценивает словесное общение, но оно приобретает подлинное значение лишь как средство душевного единения:

*Когда сочувственно на наше слово  
Одна душа отозвалась –  
Не нужно нам возмездия иного,*



---

*Довольно с нас, довольно с нас...*

1866 (II, 156)

Можно сказать, завершает этот ряд высказываний поэта о Слове и окончательно выявляет его итоговое творческое резюме стихотворение «14-ое февраля 1869» («Великий день Кирилловой кончины...», 1869). Тютчев уже ранее великих поэтов сравнивал с «фаросом», маяком, горящем даже в темноте социальной ночи. В новом стихотворении, посвященном славянскому создателю азбуки, святому Кириллу, поэт славит «великое служение Славянам»: «словеса святы» создал этот первоучитель. Стихотворение возвращало в духовно-лингвистическом смысле к знаменитой строфе:

*Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде Царь Небесный  
Исходил, благословляя.*

(II, 71)

Люди нуждаются в благом Слове, а не суетно-профанном.

Процесс работы Тютчева над стихотворным словом представляет значительный интерес, что побуждает к микроанализу его стихов, анализу не только отдельного текста стихотворения<sup>35</sup>, но и отдельной строфы, строки, синтагмы предложения, перестановки двух слов, начала или окончания строки, рифмующихся слов. Собственно работа Тютчева над стихотворением именно в этом прежде всего и состояла, что приводило к шлифовке эстетического содержания стихотворения в целом и его художественных деталей. Второй аспект работы над словом – его графическая выразительность: заглавные буквы, большие буквы в середине слов, подчеркивания, нажим пера, другие особенности почерка, передающие нервность, эстетическую возбудимость поэта. Значительно также синтаксическое оформление слова, роль многоточий, тире, восклицательных и вопросительных знаков, стоящих

рядом со словом и придающим ему дополнительные смыслы и эмоциональные ореолы.

Тютчев тяготеет к высокому Слову. Отсюда нередко он отдает предпочтение старинному книжному варианту слова. Первый вариант образа в стихотворении «Полдень» (конец 1820-х гг.): «В лазури пламенной и пышной / Лениво тают облака...»; произведена замена первого слова в строке: «И в тверди пламенной и пышной / Лениво тают облака...» Небо как «твердь» – старинный образ, еще Даль называл это слово «книжным», «устаревшим», см.: Толковый словарь. Т. 4. Столб. 662. Образ «тверди» небес подкреплялся в поэзии Тютчева выражением – «грунт небес» («Через ливонские я проезжал поля...»). В стихотворении «Странник» (начало 1830-х гг.) – та же тенденция: «Ему открыта вся земля...» Так было в первом варианте, а стало: «Ему отверста вся земля...» Снова поэт отдал предпочтение книжному, устаревшему «отверста» (см.: Даль. Толковый словарь. Т. 2. Столб. 901). В этом стихотворении проведена словесная работа, направленная на идею восхождения творения к воле Творца. В первоначальном варианте – «Богам угоден бедный странник...» – было отвергнуто первое слово: «языческое» многобожие в стихотворной строке было заменено образом единого бога: «Угоден Зевсу бедный странник...». Античный колорит сохраняется в стихотворении; вместе с тем следует иметь в виду, что античный Олимп в поэзии XVIII – начале XIX в. часто

входил в состав аллегорий, обозначающих явления внутреннего и внешнего мира человека Нового времени. Подобное было свойственно и Жуковскому: «Хвала жизнедавцу Зевсу!» («Теон и Эсхин», 1814); поэт устами Теона, в условных поэтических образах, славил Творца. Также и в восклицании – «На что винить богов напрасно?»; в перифразе «богов» имелись в виду Высшие силы. Подобное и у Тютчева: условное слово-образ «Зевс» содержит его мысль о Творце, поэтому в конце стихотворения поэт раскрыл истинный смысл: странник «видит все и славит Бога!...» Слово «бедный» повторится впоследствии в таком же смысловом ореоле в знаменитом стихотворении «Эти бедные селенья...»: Христос

благословляет бедных. Написание главного слова в последней строке «Странника» с большой буквы повергло в недоумение Р.Ф.Брандта, подумавшего, что поэт «сбился со взятой на себя роли язычника»<sup>36</sup>. Но эта «роль», в стихотворении была совершенно условной и внешней, сводимой к литературному приему. Об этом свидетельствует и перестановка слов во второй строке: было – «Над ним его святой покров», стало – «Над ним святой его покров». Важное слово – «святой» – изменило свое место в строке, оно подвинулось вперед и приобрело больший смысловый акцент.

Восхождение к старинному слову – и в переводе «Из Гётева “Западо-Восточного Дивана”» (не ранее 1827); здесь варьируется

16-я строка: «Мысль тесна, просторна Вера»; в другом автографе – «Мысль тесна, пространна Вера» («пространный», по Далю, слово книжное; см. Т. 3. Столб. 1012). Подобное и в переводе из «Фауста» Гёте (1828–1829); во втором отрывке («Кто звал меня?» – «О страшный вид!») поэт заменял «голос» – на «глас», вместо «Явился я!» – «И се предстал!», вместо «гигант» – «титан», слово, ведущее к античной старине; поэт насыщает текст в автографе прописными, большими, буквами – «Всевышний», «Серафимы», «Свет», «Ночи», «Землю», «Вседержитель», «Сила», «Духов», «так Фауст Я», «твой равный Я», «Океан», «Смерть», «Рожденье», «Воля», «Рок» и др.

Тютчев внимателен к звуковой выразительности слов. Поэт отказывался от неблагозвучного слова, уродливого окончания, для него был важен эстетический результат. В стихотворении «Безумие» (1830) первоначально был вариант – «растреснувшей землей...», окончание слова поэта не удовлетворило и появился вариант – «растреснутой землей...». Также какой-то сложно постигаемый вариант в последней строфе стихотворения «Как над горячею золой...» (1830):  
 «И, не томясь, не мучась доле, / Я просиял бы – и угас!»; стало: «Я просиял бы – и погас!». Различие глаголов совершенного вида «угас» и «погас» трудно ощутимо. Чем вызвана замена? Возможно, предлог «по», означающий движение по поверх-

ности, вносил в слово оттенок, обозначающий более замедленное потухание душевного огня, что больше соответствовало идее поэта: не внезапно гаснет огонь души, а есть в этом, пусть даже моменте, некоторая протяженность: и сияние («просиял бы»), и погасание – это все-таки период, хотя и кратковременный:

*О Небо, если бы хоть раз  
Сей пламень развился по воле –  
И, не томясь, не мучась доле,  
Я просиял бы – и погас!*

(I, 117)

В то же время, возможно, поэт не удовлетворила эвфония слов: «мучась – угас»; повторы «у», мрачноватого звука (слов «угроза», «угрюмый», «ужас», «умирать», «уходить») не соответствовали музыкальному слуху поэта, а звуки «и», «то» в строфе – «пламень», «то воле», «просиял», «погас» смягчали музыку слов, проливали какое-то сердечное примирение («примирительный елей»).

Музыкальность тютчевских слов-образов основана одновременно и на звукоподражании в духе поэзии XVIII в. Ломоносова и Державина, и на метафорически-романтических ассоциациях, метафорах, призванных возвысить поэтическую речь до «идеальной душевности» (Гегель). В стихотворении «Вечер» (конец 1825 – 1826) зрительные образы дополняются музыкальным оформлением слов, поэт будто передает «музыку» вечера – тишину природы и дальний колокольный звон, которому вторят шорох (шум) стаи летящих птиц и «звучные листья» (импрессионистический музыкальный образ уже в раннем стихотворении, правда, в первой его редакции). Первая строфа – словно аккорд, передающий звон колокола: *дон–звон–но–он*. Эти звуки слышатся в конце каждого стиха, образуя рифму: *долиной – звон – журавлиной – он*:

*Как тихо веет над долиной  
Далекый колокольный звон –*

*Как шум от стаи журавлиной  
И в звучных листьях замер он...*

*Как море веинее, в разливе,  
Светлея, не колыхнет день –  
И торопливей, молчаливей –  
Ложится по долине тень!..*

(I, 229)

Сочетаясь с картиной разливающихся в природе сумерек, во второй строфе звучит «музыкальная тема» мягкого вечернего затишья природы в повторяющихся звуках – *ли-ле-лы-ли-ли-ло-ли*. Но как аккомпанемент далекого колокола, слышится и во второй строфе рифма – *день – тень*. Музыкальному оформлению слов в строке и строфе в целом служат тире в конце 2-й, 6-й, 7-й строк и многоточия в конце 4-й и 8-й строк, обозначавшие эмоционально-смысловую протяженность строк или звуковую протяженность звона, шума листьев, шороха летящей стаи. У Тютчева открытое звучание строк, последних в них слов: «звон», «день», «молчаливей», «тень» – все это длится, не закончилось, «ложится» на долину, «веет» над ней. Речь идет о том, что совершается, но не завершилось, отсюда и отсутствие точек – категоричных окончаний «картины». Восклицательная интонация в конце стихотворения, парадоксально сочетающаяся с молчанием вечера и тишиной лежащих теней, характерна для Тютчева. Здесь скорее духовно-душевное восклицание в состоянии молчания. Подобное есть и в стихотворении «Поток сгустился и тускнеет...» (первая половина 1830-х годов):

*Но подо льдистою корою  
Еще есть жизнь, еще есть ропот –  
И внятно слышится порой  
Ключа таинственного шепот!*

(I, 132)

Обычно в изданиях не воспроизводили этого восклицательного знака, присущего автографу, ставили вместо него точку: «шепот» будто не сочетается с восклицанием с рациио-

нально-логической точки зрения. Но и здесь поэт воспроизвел «идеальную душевность» – восклицаемое восхищение, переживаемое молча, в глубине души.

Ритм «Silentium!» (1830) также подчинен «музыке» чувств. Конец строф в стихотворении основан на контрасте душевной активности в призывах – «Любуйся...», «Питайся...», «Внимай...» и будто пассивной замкнутости в себе – призыв к молчанию («и молчи») трижды повторяется, как рефрен. Но синтаксически оформлены концы строф, по-разному, в ритме-темпе «крещендо» – эмоционального нарастания и смыслового усиления: В первой строфе: «Любуйся ими – и молчи.». Во второй строфе: «Питайся ими – и молчи...» В третьей строфе: «Внимай их пенью – и молчи!..» Точка, многоточие и восклицание с многоточием – таков ритм движения чувств в стихотворении. Особенно многозначителен синтаксис знаменитого тютчевского парадокса – «Мысль изреченная есть ложь»; обычно в изданиях фраза завершается точкой, но в автографе здесь стоит вовсе не точка, а тире: суждение отнюдь не завершено, не категорично, поэт вовсе не убежден в том, что изреченная мысль – всегда ложь. Его высказывание открыто (у Тютчева часто тире и многоточия заменяют друг друга), оно не безусловно, а условно:

*Мысль изреченная есть ложь –  
Взрывая, возмутишь ключи,  
Питайся ими – и молчи...  
(I, 123)*

Везде недосказанность. Все стихотворение «Silentium!» – это призыв к слушанию музыки-пения души, а в истолковании Л.Н.Толстого – в моменты молитвенного молчания. Отказ от слов в этом стихотворении отнюдь не имеет универсального смысла – постоянного индивидуалистического самопогружения.

Тютчев дорожил и словесной живописью. В письмах поэта не содержится откликов на произведения живописцев, хотя можно уловить в его стихах связи с картинами Сильве-

стра Щедрина, К.Д.Фридриха, барбизонцев – в итальянских пейзажах, в образах погруженной в вечный покой старинной виллы, солнечных закатов над морем, вообще морских видов, поэтических деревьев, полей и долин, света, теней, сумерков, их смены, таинственных превращений, мерцаний. Однако импрессионистические начинания Тютчева-живописца основаны не столько на натуральности, сколько на романтическом умонастроении. Он призывал и слышать, и видеть мир природы, ее жизнь. Это понятие (слово) – в разных вариантах повторяется в его стихах, но часто со специфическим, романтическим определением – «чудная», «дивная»: «чудной жизнью» блестит зимний лес, «чудной жизнью» полна морская волна, «дивный мир» открывается глазам странника, «дивная пора» первоначальной осени восхищает поэта. Образ получает развитие и дополнения: «жизни некий преизбыток в знойном воздухе разлит...»; «жизнь, как океан безбрежный...»; «таинственная» жизнь замерзающего ключа. «Чудо», «диво», «полнота», «преизбыток», «таинственность», «безбрежность» бытия – все это восходит к романтическому видению странных, удивляющих и восхищающих поэта превращений: *месяц – светозарный бог, горные вершины – спящие цари, волна морская – морской конь, ива – обиженная девушка, зима – ведьма злая, зимний лес – не мертвец и не живой, весна – прекрасное дитя, майские дни – девичий хоровод* и т.д. Но, пожалуй, центральное место на его живописных картинах занимают явления света. Сам поэт признавался: «Ничто так кротко и утешительно не соединяет живых, как свет. Древние хорошо это понимали, недаром они всегда говорят о свете с умилением»<sup>37</sup>. Поэт нередко писал слова «Свет», «Солнце», «Утро», «Весна» с заглавной буквы. А.Д.Григорьева<sup>38</sup> выделила в стихах Тютчева целое гнездо цветовых эпитетов: *белый, голубой, лазурный, темно-лазурный, синий, желтый, золотой, золотистый, огневой, пламенный, ржавый, лучезарный, радужный, молниевидный, красный, багровый, серый, сизо-темно, пасмурно-багровый, дымчатый, тусклый, холодно-бесцветный*; надо бы еще добавить: *румяный, зеленый, огнецветный*. В настоящее время образы света специально изучали

М.А.Розадеева<sup>39</sup>, увидевшая в них глубокий религиозный смысл, а также О.А.Сергеева<sup>40</sup>, создавшая классификацию избранных ею для анализа образов.

Соглашаясь с их наблюдениями, хочется выделить романтическую особенность изображения света – его «игру», или «игру» с ним явлений природы: «И опять звезда играет / В легкой зыби неевских волн...» (видимо, И.С. Тургенев, редактируя стихотворение, убрал романтическое слово «играет», заменив его обыденным – «ныряет»: «И опять звезда ныряет» – так напечатано в изданиях 1854 г. и последующих)<sup>41</sup>. У поэта листья «играли с лучами», «играют выси ледяные с лазурью неба огневой...», «жизнь играет»<sup>42</sup>; разновидность образа – «как пляшут пылинки в полдневных лучах...»; «И тихих, теплых майских дней / Румяный светлый хоровод / Толпится весело за ней!» (за Весной. – В.К.). Гром грохочет, «резвяся и играя» – это гроза при солнце; Весна «играет» с Зимой, хохоча и шумя. Свет «играющий» и «играющие» с ним живые существа дивного мира природы – особенность тютчевских живописных картин, утверждающих мысль о живом и благодатном свете, в образе, в конечном итоге восходящем к Божественности Творца. Особенно очевидно романтический импрессионизм Тютчева проявился в стихотворениях «Пробуждение» (конец 1820-х годов), «Еще шумел веселый день...» (конец 1840-х годов), три редакции говорят об усилении новых художественных начал в его поэзии<sup>43</sup>, а также – «Вчера в мечтах обвороченных...», «Как ни дышит полдень знойный...». Переходы света и теней, их движение, конец дня и наступление ночной темноты с ее лунным светом, полумрак-полусвет храмины, слияние световых мерцаний с полудремлющим сознанием человека, мир кажущегося в этих мерцаниях занимают Тютчева и готовят импрессионизм в лирике.

Но поэт, видимо, не любил в стихах черный цвет, и он слово «черный» неоднократно заменял на «темный», как бы высветляя

черноту. В стихотворении «Под дыханьем непогоды...» (1850) во

2-й строке первоначально было: «Вздувшись, почернели во-



ды...», поэт изменил одно слово: «Вздувшись, потемнели воды...». Подобное в стихотворении «Как хорошо ты, о море ночное...» (1865): было во 2-й строке – «Здесь лучезарно, там сизо-черно...»; стало – «Здесь лучезарно, там сизо-темно...». Поэт смягчает черноту. В списках Сушковской тетради и Мурановского альбома, текстах, возможно, восходящих к какому-то автографу стихотворения «Кончен пир, умолкли хоры...» (конец 1849 – начало 1850), появился вариант 17-й строки – «В черном, выпрленном пределе...», но в известном автографе – другой эпитет: «В горнем выпрленном пределе...»; черной краски нет в небесной дали, небо не «черное», а «горнее» – высокое. Сходно эстетическое чувство Тютчева и в работе над стихотворением «Святые горы» (1862), источником которого был текст Анны Федоровны Тютчевой. У нее в 6-й строке было: «И во тьме Донец блестит...». Тютчев изменил порядок слов, отодвинув «тьму» и выдвинув на первое место в строке образ светлой («блестящей») реки: «И Донец во тьме блестит...» Ночь в поэзии Тютчева – это скорее рама-фон, на котором действует «мутный», «роящийся» хаос. Ночное небо – отнюдь не ассоциировано с чернотой и беспросветностью, оно звездное, лунное; сияние ночных светил и солнечных закатов высветляют мрак волн рек и морей. Ему видится: «Небесный свод, объятый славой звездной...»; «Святая ночь над небосклоном взошла...» (правда, этот эпитет ночи встретился только однажды в его поэзии).

\* \* \*

Романтизм Тютчева имеет русские национальные литературные корни, связанные с традициями отечественной поэзии XVIII в. и религиозного философствования. Его лирика разворачивается не в стиле «ночного», индивидуалистического романтизма, а возвышенно-духовного, утверждающего высокое Слово поэта, призванного передать красоту Божьего мира и чистых истоков человеческой души, отзывающейся на все прекрасное. Философский романтизм Тютчева имеет православную патриотическую основу. Романтизм поэта – в

идеальном пафосе его стихов, в видении «чуда», «дива» Творчества. Тютчев значительно расширил рамки романтической образности, вобрав в свою поэзию на первом этапе творчества традиции высоких жанров западноевропейского и русского классицизма и предромантизма, войдя в эстетическую сферу русского романтизма 1820-х – 1830-х годов. Поэт не избежал влияния классического реализма с его принципами народности, но рано в его поэзии обнаружилось тяготение к импрессионизму, воспринятое поэтами Серебряного века. Тютчевская романтическая система оказалась емкой и открытой новаторским веяниям новой эпохи.

В высоком Слове Тютчева крайне нуждается современный мир, тютчевская поэзия дает людям третьего тысячелетия возвышенные ориентиры духовной культуры и творчества.

### Примечания

1. Здесь и далее цитируется по изд.: *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч.: В 6 т. – М., 2002–2003. – Т. 1–2.
2. *Соловьев В.С.* Поэзия Тютчева // Соловьев В.С. *Философия искусства и литературная критика.* – М., 1991. – С. 472.
3. Там же. – С. 473.
4. *Лотман Ю.М.* Поэтический мир Тютчева // *Тютчевский сборник.* – Таллин, 1990. – С. 110–111, см. также с. 114.
5. См.: *Тарасов Б.Н.* Христианство и политика в историософии Ф.И. Тютчева / Тарасов Б.Н. *Куда движется история? Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции.* – СПб., 2002. – С. 112–146.
6. Там же. – С. 118.
7. *Всемирная Иллюстрация.* 1869. – Т. 1. – № 5. – С. 75.
8. Там же.
9. *Трубецкой Е.* Мирозерцание Вл. С. Соловьева. Б.м. <1913>. – Т. 1. – С. 302.
10. Там же.
11. Там же. – С. 303.
12. *Бальмонт К.Д.* Элементарные слова о символической поэзии / Бальмонт К.Д. *Горные вершины: Сб. статей.* – М., 1904. – С. 84.
13. *Брюсов В.Я.* Ф.И. Тютчев // *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. СПб.: изд. А.Ф.Маркса, 1913. – С. XXXIII.
14. См.: *Соколов В.* Пантеизм // *Философская энциклопедия.* – М., 1967. – Т. 4. – С. 206.
15. *Аксаков И.С.* Биография Ф.И.Тютчева. – М., 1886; Репринтное переиздание. – М., 1997. – С. 17–22.
16. См. об этом: *Трубецкой Е.* Мирозерцание Вл. С. Соловьева. *Цит. соч.* – С. 302.
17. Ср. рассуждения о них Я.Бёме в его сочинении «Аврора, или Утренняя заря в восхождении» (СПб., 2000. – С. 44, 276–293). Однако сходство с Я.Бёме скорее в тематике раз-

- мышлений – о стихиях воды, огня, воздуха, о земле и небе, дне и ночи, о духах, нежели в развитии мысли и создании целостной картины мира.
18. См.: Из Якоба Бёме. Публикация Л.Н.Кузиной // Литературное наследство. – М., 1988. – Т. 97. Ф.И.Тютчев. Кн. 1. – С. 178–179.
  19. См. об этой правке в кн.: *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч.: В 6 т. – М., 2002. – Т. 1. – С. 390, 482, 425–426, 460.
  20. *В.Соловьев.* Цит. соч. – С. 473.
  21. Там же. – С. 475.
  22. *Адрианов С.* Критические наброски // Вестник Европы. – 1912. – № 10. – С. 407.
  23. *Франк С.Л.* Космическое чувство в поэзии Тютчева // Русская Мысль. – 1913. – № 11. – С. 393.
  24. *Франк С.Л.* Цит. соч. – С. 20.
  25. *Бёме Я.* Аврора... Цит. соч. – С. 37.
  26. См.: Толстой Л.Н. Круг чтения // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. – Т. 42. – С. 107–108. Толстой комментировал тютчевское «Silentium!»: «Чем уединеннее человек, тем слышнее ему всегда зовущий его голос Бога», и еще: «Временное стремление от всего мирского и созерцание в самом себе своей Божественной сущности есть такое же необходимое для жизни питание души, как пища для тела».
  27. См.: *Тютчев Ф.И.* Сочинения. Стихотворения и политические статьи. – СПб., 1900. – С. 58. В этом издании введены названия строф: «Молитва магометан», «Молитва славян».
  28. *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч.: В 6 т. – М., 2002. – Т. 1. – С. 233.
  29. *Некрасов Н.А.* Русские второстепенные поэты // *Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – М., 1980. – Т. 9. – С. 40.
  30. *Аксаков И.С.* Биография Федора Ивановича Тютчева. – М., 1886. Репринт. переизд. 1997. – С. 85.
  31. *Гольденвейзер А.Б.* Вблизи Толстого. – М., 1922. – Т. 1. – С. 182–183.
  32. *Брюсов В.Я.* Ф.И.Тютчев: Критико-биографический очерк // *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. – СПб., 1913. – С. 34–37.
  33. *Григорьева А.Д.* Слово в поэзии Тютчева. – М., 1980. – С. 32.
  34. О религиозном содержании слова в русской литературе см.: *Розадеева М.А.* Чистое золото молчания // Русская словесность. – 1997. – № 3. – С. 24–25. Однако исследовательницу более занимает тютчевская идея молитвенного молчания («Silentium!»). Диалектику молчания и словесной коммуникации (невывразимого и выражаемого) рассмотрел А.А.Мурашов в статье: «Душа поэта и ее выражение в слове. Ф.И.Тютчев» (Религиозные и мифологические тенденции в русской литературе XIX века. – М., 1997. – С. 104–112).
  35. Такой анализ осуществлен по отношению к отдельным его стихотворениям, не только хрестоматийного типа, как «Весенняя гроза», «Зима недаром злится...», «Чародейкою Зимой», «Есть в осени первоначальной...», не только романсов: «Я встретил вас – и все былое...», «Еще в полях белеет снег...», но и таких значительных и проблемных, как «Silentium!», «Эти бедные селенья...», «Два голоса», «Умом – Россию не понять...» и многие другие, получившие разную интерпретацию, составившую целую историю их истолкования на основе принципов герменевтики.
  36. *Брандт Р.Ф.* Материалы для исследования «Федор Иванович Тютчев и его поэзия». – СПб., 1912. – С. 28.
  37. Тютчев Ф.И. – Э.Ф.Тютчевой. Петербург. 8 октября <1867> // *Тютчев Ф.И.* Соч.: В 2 т. – М., 1984. – Т. 2. – С. 312. Об эстетико-философском восприятии поэтом света см. в кн. автора этой статьи: Поэтическое мировоззрение Ф.И.Тютчева. – Саратов, 1969. – С. 20–31.

38. Григорьева А.Д. Цит. соч. – С. 74.
39. Розадеева М.А. «Свет, превосходящий солнечное сияние...» (Духовный смысл образов света в творчестве Ф.И.Тютчева) // *Тютчев Ф.И.* Проблемы творчества и эстетической жизни наследия (1803–2003): Сб. научных трудов. – М., 2003.
40. Сергеева О.А. Красота и тайна света в лирике Ф.И.Тютчева // Там же.
41. См.: Полн. собр. соч. Ф.И.Тютчева: В 6 т. – Т. 2. – С. 20, 277, 357.
42. См. размышления об образе «жизнь играет» в кн.: Григорьева А.Д. Цит. соч. – С. 73.
43. См. подробнее об этом в комментариях к этим стихотворениям в кн.: *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч.: В 6 т. – Т. 1. – С. 321–323, 506–507.

Л.Ф.Алексеева

## ВОСПРИЯТИЕ ТЮТЧЕВСКИХ ОТКРЫТИЙ ПОЭТАМИ НАЧАЛА XX ВЕКА

*«Тютчев – весь в двадцатом столетии»*  
(Н.Оцуп)

В 1895 г. В.С.Соловьёв писал: «Говорят, что в недрах русской земли скрывается много естественных богатств, которые остаются без употребления и даже без описания. Это может, конечно, объясняться огромным объемом страны. Более удивительно, что в небольшой области русской литературы тоже существуют такие сокровища, которыми мы не пользуемся и которых почти не знаем. Самым драгоценным из этих кладов я считаю лирическую поэзию Тютчева. Этого несравненного поэта, которым гордилась бы любая литература, хорошо знают у нас только немногочисленные любители поэзии, огромному же большинству даже “образованного” общества он известен только по имени да по двум-трем (далеко не самым лучшим) стихотворениям, помещаемым в хрестоматиях или положенным на музыку»<sup>1</sup>. Но уже в конце XIX – начале XX в. Тютчев становится активно читаемым и почитаемым поэтом.

Издание стихотворений, писем, политических статей Тютчева<sup>2</sup> усилило к нему внимание читателей. Его начали пристально изучать: публиковать документы, связанные с биографией, политической и дипломатической деятельностью, комментировать стихи и идейно-философские воззрения. В начале XX в. предпринимаются первые попытки проникнуть в существо тютчевской поэтики и стиховой техники.

Вышедший в конце XIX в. однотомник поэтических произведений Тютчева<sup>3</sup> содержал почти все его стихи, написанные на русском языке. Распределение стихотворений по тематическим группам («Природа», «Любовь» и др.) настраивало на объединение лирики в циклы, – хотя сам поэт сформировал только один цикл – «Денисьевский», а другие скомпонованы исследователями и издателями Тютчева. Циклизация становится в XX в. практически обязательной для каждого из заметных поэтов. Кроме чисто эстетических задач циклизация означала у Тютчева и символистов особенное качество времени – не линейного, но психологического, исторического, художественного, биографического. Как заметил один из современных исследователей, «эти тютчевские “вновь” и “опять” в зачинах стихотворений, подхваченные потом поэтами начала XX века, могут трактоваться в мире Тютчева антонимически: как вечное возрождение (в мире природы) или как заколдованный круг смерти (в мире человека)»<sup>4</sup>. Слово «цикл» применительно к «денисьевской» группе стихотворений выступает в таком случае «в своём прямом этимологическом значении».

Многими поэтами Тютчев был прочитан через призму идей и высказываний В.С.Соловьёва. Среди них, в первую очередь, символисты, вскоре провозгласившие Тютчева своим учителем и непосредственным предшественником. В.Я.Брюсов посвятил Тютчеву несколько статей<sup>5</sup>, написал предисловие к тому стихотворений<sup>6</sup>, который переиздавался несколько раз вплоть до 20-х годов, опубликовал письма Ф.И.Тютчева к П.Я.Чаадаеву<sup>7</sup>.

Поэты начала XX в. воспринимали Тютчева как художника и мыслителя глубоко современного, уловившего и осмыслившего глобальные вопросы мировой истории и провиденциальных путей России. В 1912 г. о нем писал известный тогда критик: «Трудно принять историческую точку зрения на Тютчева, трудно отнести его творчество к одной определённой и законченной эпохе в развитии русской литературы. Для него не настала история... Возрастающий для нас смысл его поэзии внушает нам как бы особую, внеисторическую точку зрения на него»<sup>8</sup>.

«Мысль изречённая есть ложь» – эта, казалось бы, не вполне доступная уму формула была поставлена символистами во главу угла. Этим афоризмом открывается статья Вяч. Иванова «Заветы символизма» (1910), которой сам теоретик и его адепты придавали принципиальное значение: «Этим парадоксом-признанием Тютчев, ненароком, обличая символическую природу своей лирики, обнажает и самый корень нового

символизма: болезненно пережитое современною душой противоречие – потребности и невозможности “высказать себя”<sup>9</sup>. Для символистов привлекательна идея таинственности мира, невозможности его рационального познания, их глубоко волнует такая же непостижимость и внутреннего мира человека.

Еще более важным является для символистов тютчевское откровение относительно двойственной природы бытия. Вяч. Иванов, понимая, что противоречие между логикой и «символической энергией» изначально неразрешимо, метод русского символизма определяет как «двойное зрение», подкрепляя свою мысль цитатой из Тютчева:

*О, вещая душа моя!  
О, сердце, полное тревоги,  
О, как ты бьёшься на пороге  
Как бы двойного бытия!.. (2,75)*<sup>10</sup>

Эти тютчевские стихи завораживали многих. Эмигрант 1920-х годов во Франции Марк Людвиг Талов (принявший католичество) назвал свой сборник стихотворений формулой Тютчева: «Двойное бытие»<sup>11</sup>. Самосознание поэта и его творчество изначально «поделено, – с точки зрения Вяч. Иванова, – между миром “внешним”, “дневным”, “охватывающим” нас в “полном блеске” своих “проявлений”, – и “неразгаданным, ночным” миром, пугающим нас, но и влекущим, потому что он – наша собственная сокровенная сущность и “родовое наследье”, – миром “бестелесным, слышным и незримым” <...>»<sup>12</sup>. Цитируя Тютчева и прибегая к его поэтическим афоризмам и определениям, Иванов переносит их на собственную концепцию двуединства Аполлона и Диониса, убеждая своих современников, что «Дионис могущественнее в душе Тютчева, чем Аполлон, и поэт должен спастись от его чар у Аполлонова жертвенника:

*Из смертной рвется он груди  
И с беспредельным жаждет слиться»*<sup>13</sup>

Тютчев – наряду с Вл. Соловьёвым и Фетом – был любимым поэтом Блока с юности и вошел как основополагающее звено в его творческий мир. О том сохранились свидетельства мемуаристов и биографов, записи в дневниках, письмах. Тютчева очень любила мать Блока Алек-

сандра Андреевна, с которой сын был внутренне близок. Влияние матери соединилось в данном случае с его собственными устремлениями. Блоку многое было родственно в творческом наследии предшественника: тютчевская концепция одухотворенной природы, имеющей собственную душу и собственный язык; ощущение взаимной зависимости космической Вселенной и человека; понимание двойственности и антиномичности бытия в целом и как отражение такой двойственности – противоречивость человеческой души.

Л.Д.Блок вспоминала, что будущий жених ей «привозил <...> Тютчева, Соловьёва, Фета»<sup>14</sup>, – не для простого чтения, но чтоб приобщить возлюбленную к тайнам своего духовного бытия. Некий экстаз пережила невеста, прочитав тютчевскую строчку «тяжелый огонь окутал мирозданье»: «Я увидела этот первозданный хаос, это “мирозданье” в окно своей комнаты, упала (на колени) перед окном, впиваясь глазами, впиваясь руками в подоконник в состоянии потрясенности <...> лицом к лицу с открывшейся Вселенной...»<sup>15</sup>. Летом 1912 г. жена Блока читала «на Сапуновском вечере» стихотворение Тютчева «Два голоса», а поэт сообщал об этом в письме матери (27 июня), – как о событии, понятном и важном для всех троих, отметив, что Лермонтова, Тютчева и Сапунова роднит «роковое и романтическое»<sup>16</sup>. В следующем письме он полностью привел «Два голоса», а спустя полтора года (5 января 1914 г.) писал Н.Д.Санжарь: «Меня поразило, что книга Дарского заключается стихотворением Тютчева [“Два голоса”], которым я живу уже года два и которое хотел поставить эпиграфом к “Розе и Кресту”» (Б-8, 433).

Организация душевных сфер, склад характера у Блока и Тютчева, если судить по письмам, воспоминаниям о поэтах, были сходными, родственными. Склонность к предчувствиям, особенная, почти болезненная сверхчуткость, дар прозрений будущего, тяготение к постижению метаистории России и мира – в одинаковой мере присущи как старшему, так и младшему поэту. Объединяет их и эпоха, когда они были восприняты, и в глазах культурных деятелей Серебряного века они были как бы современники. Н.А.Оцуп писал по этому поводу: «Для России и для ее поэтов, ныне действующих – Тютчев и Блок – поэты одной стихии. Есть в ней и что-то от Лермонтова, но Лермонтов наполовину – с Пушкиным, с тем давно прошедшим золотым веком. Тютчев – весь в двадцатом столетии, и наш современник Блок несколько Тютчева не устаревает, не заменяет, а только становится рядом с ним. Оба – в сердце всего, что движет современной поэзией»<sup>17</sup>. Как и Тютчев, Блок постепенно



становится для своего поколения некоей знаковой фигурой, «памятником началу века». «Как сам Блок и его современники были “детьми страшных лет

России”, так мы стали детьми Александра Блока»<sup>18</sup>, – писала Н.Берберова.

Как близкое воспринимал Блок и тютчевское отношение к женщине. Именно у Тютчева Блок прочитал молитвенные строчки: «Стою, молчу, благоговею / И поклоняюсь тебе...» (2, 39). Восклицание Тютчева было воспринято им как предвестье его собственной философии:

*...если бы душа могла  
Здесь, на земле, найти успокоенье,  
Мне благодатью ты б была –  
Ты, ты, моё земное провиденье!.. (2, 37).*

Стихи о духовной высоте любимой жены, созданные Тютчевым, послужили импульсом для создания теории Вечной Женственности Владимиром Соловьёвым, а вслед за ним были интерпретированы в том же ключе младосимволистами: Блоком, Белым, С.Соловьёвым. У Блока поклонение женщине оформилось в настоящий культ Прекрасной Дамы. Он наиболее из всех символистов близок Тютчеву поэтическим выражением любовных чувств – и одухотворенно-возвышенных, и тяжело страстных.

Возможность параллельного прочтения заложена также в присутствующей обоим поэтам склонности к соединению контрастов, взаимоисключающих противоречий. Аналогия между грозным океаном и бурями в человеческой душе освоена Блоком не только как метафора, но стала основой его мифологической системы бытия. «Поединок роковой» любящих Тютчев передал с удивительной глубиной. Младший поэт обогатил и по-своему, неповторимо передал страдания любящей души, ее самосожжение в огне страсти («Ты волна моя морская» Тютчева, «Кармен» Блока). «Неслиянность и нераздельность» живых противоречий бытия (по Иванову, Аполлона и Диониса) Блок не просто унаследовал у Тютчева, но заново освоил как объективную черту самой жизни. Заметим, что при этом тонкая поэзия сумерек и ночи была ему так же близка, как и предшественнику.

Губительную силу страсти Блок выразил, впитав в себя тютчевские откровения. Вслед за предшественником он виртуозно развернул перед читателем целую симфонию утонченных и напряженных чувств, их оттенков, переходов, превращений, капризных порывов души. В его

поэзии запечатлено немало отрицательных переживаний, повергающих в состояние оглушенности, влекущих к вырождению и омертвлению чувств, к возмездию, которое обрушивается на человека за утрату связей с другими сферами бытия. Особенно выразительно тема наказания за отгороженность от долга передана Блоком в стихотворении «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908), открывающем цикл «Возмездие».

Если сопоставить письма поэтов к любимым женщинам, то и здесь возможна параллель. Обстоятельства нередко разлучали поэтов с любимыми. Письма Тютчева к жене Эрнестине Федоровне и письма Блока к Любове Дмитриевне одинаково исполнены глубокой тоски, печального смирения и протеста против разлуки, написаны с беспредельной искренностью и доверием.

Горечь разлуки выражалась жалобами и иронией, юмором и отчаянием. Тютчев. 31 июля 1851 г.: «Я решительно возражаю против твоего отсутствия. Я не желаю и не могу его выносить. Оно обрекает меня на цыганское существование, которое мне более не подходит. Я испытываю от него только усталость и огорчение, котор<ого> ничто не возмещает. Я считаю непристойным, что мне приходится жить так со дня на день. Ибо с твоим исчезновением моя жизнь лишается всякой последовательности, всякой связности. Каждое утро я распределяю день так, чтобы быть уверенным, что ни на минуту не останусь наедине с самим собою. Ибо тотчас же является призрак... И эта нарочитая суета до невероятия глупа и утомительна» (Т-2, 121). Разъединенность с любимой осознавалась Тютчевым как свидетельство абсурдности бытия. 14 августа 1851 г. он горестно возмущался: «Итак, именно с тобою я вынужден сноситься письмами, в то время как могу каждодневно устно переговариваться со старухой Местр... Как хорошо все устроено!» (Т-2, 129)<sup>19</sup>.

Спустя несколько десятилетий (23 июля 1908) Блок писал своей жене: «Положительно не за что хватиться на свете; единственное, что представляется мне спасительным, – это твое присутствие, и то, только при тех условиях, которые вряд ли возможны сейчас: мне нужно, чтобы ты была около меня равнодушной, чтобы ты приняла какое-то участие в моей жизни и даже в моей работе; чтобы ты нашла средство исцелять меня от безвыходной тоски, в которой я сейчас пребываю. <...> Пойми, что мне помимо тебя решительно *негде* найти точку опоры <...>»<sup>20</sup>. Подобные состояния имели склонность к повторению, к кольцевой структуре. 23 апреля 1917 г. Блок вновь звал к Любове Дмитриевне: «Я знаю, в сущности, что зову тебя в ужасную жизнь, но не могу не звать, потому

что только за тебя хватаюсь. Ты мне нужна, как воздух, без тебя нечем дышать»<sup>21</sup>.

Каждый из двух поэтов раскрывал супруге глубины собственной души, обнажал интеллектуально-эмоциональные всплески, считал возможным и необходимым высказать самые серьезные, «вполне мужские» обобщения политического и философского свойства.

24 февраля (8 марта) 1854 г. *Тютчев* писал Эрнестине Федоровне по поводу политического кризиса, в результате которого разразилась так называемая Крымская (русско-турецкая) война: «Ты лучше, чем кто-либо другой знаешь, что я был одним из первых и из самых первых, видевших приближение и рост этого страшного кризиса, – и теперь, когда он наступил и готовится охватить мир, чтобы перемолоть и преобразовать его, я не могу представить себе, что все это происходит на самом деле и что мы все без исключения не являемся жертвой некоей ужасной галлюцинации. Ибо – больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти» (Т-2, 147).

Тютчев, знавший обстановку и настроения Западной Европы в связи с подготовкой и развитием революционных событий 1830, 1848, 1871 гг., остро ощутил и передал в стихах и в статьях свои опасения, касающиеся надвигающегося атеизма, крушения христианской веры, дипломатических и политических предательств по отношению к России, предчувствовал катастрофы, разразившиеся в начале XX в. Развертывающиеся и оживающие на глазах картины Апокалипсиса Тютчев пережил задолго до русских религиозных философов и поэтов XX в. Как опередивший свое время, он был по достоинству оценен при жизни немногими, но среди этих редких читателей истинно гениальные современники: Л.Н.Толстой, А.А.Фет, И.С.Тургенев, А.Н.Некрасов. Способной понимать и чувствовать переживания гениального поэта оказалась и его супруга. Не случайно с такой доверительностью посвящал он ее в круг своих раздумий.

Так, 9 июня 1854 г. *Тютчев* писал из Москвы жене: «Знаешь ли ты, что мы накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых

и небывало-постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка, что мы, одним словом, накануне капитуляции? Ты, зная меня, должна понимать, какое важное значение я придаю этим вопросам и какая часть моего существа отождествилась с известными убеждениями и верованиями, – ты одна можешь понять все, что я испытываю при одной мысли о том, что подобное несчастье совершится» (Т-2, 152).

И сомнениями относительно будущего России, и надеждами Блок делился с женой, как и Тютчев. 21 июня 1917 г. он анализировал в письме текущие события в их ретроспективе и перспективе: «Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней болезни. Наша Демократия в эту минуту, действительно, “опоясана бурей” и обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном и в мелком каждый день. Я был на съезде Советов С. и Р. Д. и, вообще, вижу много будущего, хотя и погружен в работу над прошлым – бесследно прошедшим. Все это – только обобщения, сводка бесконечных мыслей и впечатлений, которые каждый день трутся и шлифуются о другие мысли и впечатления, которые, увы, часто противоположны моим, что заставляет постоянно злиться, сдерживаться, нервничать, иногда – просто ненавидеть “интеллигенцию”»<sup>22</sup>.

Противостояние России и Запада, с его пренебрежением к русской дикости, Блок осознал вслед за Тютчевым постепенно, опираясь на впечатления от поездок в европейские страны, а также анализируя злободневные политические события. Россию в одинаковой мере и Тютчев, и Блок воспринимали через толщу европейской культуры. Но европейская образованность поэтов не гасила искренней любви к национальным истокам. Совпали два гения в глубинном чувствовании метафизического предназначения России, оба любили ее древнюю историю, страдали из-за угроз родной стране со стороны европейцев и мусульман. Тютчев воспел «край родной долготерпенья», подчеркнул, что «эти бедные селенья» хранят духовность высшего порядка: сам Христос в рубище убогом здесь, в деревенской России («Эти бедные селенья»). Оба поэта чувствовали боль и обиду за свой народ, высокомерно обвиняемый в дикости и некультурности. Не закрывая глаз на бездны греха, тем не менее, каждый поэт по-своему верил в Россию. Тютчевская формула «Умом Россию не

понять» реализована Блоком во всем его творчестве, особенно ярко и последовательно – в цикле стихотворений «Родина», в поэмах «Песня Судьбы», «Возмездие», «Двенадцать», стихотворении «Скифы».

Тема мужественного служения, зазвучавшая в «Двух голосах» Тютчева, многократно отозвалась в блоковской лирике. В подцикле «На поле Куликовом» цикла «Родина» подвиг защиты отечества в бою с несметными полчищами врагов, готовность «за святое дело мертвым лечь» переживаются героем как свидетельство состоятельности души, и нерукотворный лик Богородицы отражен в щите безымянного воина, мужественно готового погибнуть вместе со всеми («Я не первый воин, не последний...»). Конечно, дело не только в том, что Блок прочитал Тютчева, – ему было дано ощутить и выразить в слове то же свойство народной души, что и предшественнику.

Тютчевская статья «Россия и Революция» (1848) послужила образцом для нескольких статей Блока, столь же экспрессивных и антиномичных. Публицистику двух поэтов можно рассмотреть как некую аналогию, сопоставив систему рассуждений и патетические прогнозы. В статье Тютчева Россия и Революция разделены как взаимоисключающие величины: «Существование одной из них равносильно смерти другой!»<sup>23</sup>. Насколько справедливым было предвидение, мы поняли, может быть, только в конце XX в. Тютчев писал: «Россия прежде всего христианская империя, Русский народ – христианин не только в силу православия своих убеждений, но еще благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения. Он – христианин в силу той способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция – прежде всего – враг христианства»<sup>24</sup>. Возможно, уже в этих строчках предугаданы возгласы «строителей нового мира»: «Пальнем-ка пулей в Святую Русь – / В кондовую, / В избяную, / В толстозадую!» (Б-3, 350). Но Блок подчеркнул, что самоотвержение в них исключительное, изначально им предуготованное:

*Как пошли наши ребята  
В красной гвардии служить –  
В красной гвардии служить –  
Буйну голову сложить! (Б-3, 351).*

Тютчевский возглас «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые», – близок блоковскому лирическому герою на протяжении всего творческого пути. «Свидетель гибели вселенной», – лирический

субъект Блока уподоблен птице Гамаюн, прозревающей «трус и голод, и пожар, злодеев силу, гибель правых», но это открытое страшной перспективе зрение не заражает злом того, кто глядит в грядущее, – «прекрасный лик горит любовью». Младший русский поэт, подобно Тютчеву, провидит «холод и мрак грядущих дней», но высокое (иногда праздничное) ощущение связанности с роковыми, судьбоносными страницами России пронизывает его статьи и стихи. При всем понимании трагического уродства современности, гримас безверия и богохульства в душах новых хозяев истории, – автор поэмы «Двенадцать» почувствовал и передал энергию жизни, некий заряд бодрости, с которым смело идет русский народ навстречу страшным испытаниям (предопределенным – отчасти – своим собственным несовершенством).

Как и у Тютчева, злободневное нередко отодвигалось Блоком, уступая место провиденциальному. В 1918 г., когда обнажились копившиеся веками узлы противоречий, Блок написал стихотворение «Скифы», как бы неожиданное для его «прореволюционных» позиций. Неожиданно он возвращается к тютчевскому панславизму. Его личный голос перестает быть единичным, он сливается с праисторическими голосами соотечественников, способных освоить европейскую культуру с блистательной талантливостью, но обнаруживающих грубую силу, когда хищная цивилизация приходит с оружием (долго терпит народ, пока лишь материальные драгоценности выкачивает Запад):

*Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перлы,  
И вы, глумясь, считали только срок,  
Когда наставить пушек жерла! (Б-3, 360).*

Пламенная патетика, ирония, инвектива, мощное волевое начало, великодушие, острое ощущение близкого и готового к взрыву зла и надежда на добро – вот черты патриотической лирики, берущие свое начало из пушкинской и тютчевской традиции. Нет смысла недоумевать, но стоит восхититься, как такие тонкие лирики, аристократы смогли вобрать в себя народное самоощущение и, эстетически претворив, выразить.

В тютчевском стихотворении «Наш век» читаем:

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,  
И человек отчаянно тоскует...  
Он к свету рвется из ночной тени*

*И, свет обретши, ропщет и бунтует (Т-1, 129).*

Блок не только отозвался на лермонтовско-тютчевскую тему греховного поколения, утратившего веру, но и развил и обогатил ее. Вслед за Баратынским и Тютчевым он создавал емкие формулы своего века. Блоковские определения в поэме «Возмездие» сути девятнадцатого «железного» века и двадцатого, когда «еще страшнее ночи мгла», вытекают из лирики Тютчева, из общего пафоса его образов ночи, бездны. По сути, в цитированных строчках заключен лейтмотив поэмы «Двенадцать». Ночное шествие, тоска, скука, глумление, преступление, жажда света, веры, но сознание гибельности и невыносимое страдание безверной души, видение Христа, но отдаленное («перед замкнутой дверью») – все имеет место в поэме о революции, которую задолго до Блока предчувствовал как мировую катастрофу Тютчев.

Обоих поэтов увлекала мысль о гибельности бытия, его роковых бездн. Узаконенное Тютчевым равновесное внимание к темным и светлым сторонам бытия постепенно нарушалось в конце XIX–начале XX в., устремляясь в сторону декадентского любования мрачным, нередко обращившись поэтизацией греха, порока, гибели, иронии, отчаяния. Блоковский «холод и мрак грядущих дней», натиск безверия, таящего гордыню, голого рационализма, прагматизма Тютчев предсказывал с удивительной прозорливостью. Это свойство развилось в Блоке до точности и чуткости «сейсмографической», – как сам он писал о Брюсове. В отличие от Тютчева, еще не утратившего надежды, Блок не однажды впадал в пессимизм и иронию, которой было «заражено» его поколение (статья «Ирония», 1908). Отсутствие положительного идеала у современников русских революций было следствием того самого безверия, о котором так тревожился Тютчев. Однако «роковая о гибели весть» не закрывает доступа к светлым информациям из прошлого и будущего, одинаково исполненным жизни: «Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего. Жалкого нет» (Б-3, 145).

В 1917 г., в роковые месяцы, Блок был озабочен судьбой русской интеллигенции: «Если мозг страны будет питаться все теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут – скоро, жестоко и величаво, как делается всё, что действительно делается теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа? А могли бы своим опытом, купленным кровью детей, поделиться с этими детьми»<sup>25</sup>. Блок смотрит на

события, исходя из понимания души России, ее сущности, и почти дословно предугадал, как поступят с интеллектуальными силами страны – «жестoko и величаво»: одних отправили в вечность, других – выслали из страны, и только третьи самоотверженно несли знания в массы, восхищаясь любознательностью и усердием рабочей и крестьянской аудитории.

Обаяние Тютчевым реализовалось у Блока в многочисленных реминисценциях, самых разнообразных – от прямого цитирования до ритмических и звуковых переключек, трансформированных образов и идей<sup>26</sup>, но главное – Тютчев будил творческий потенциал собственной творческой индивидуальности поэта-потомка, вел к той духовной высоте, которая определяла в конечном итоге удивительное совершенство поэтических личностей обоих русских поэтов.

Андрей Белый в статье «Апокалипсис в русской поэзии» (Весы. 1905. № 4) подчеркнул, что с Тютчевым связаны принципиальные изменения не только в художественном качестве русской поэзии, но в ее мистической задаче: «в глубине национальности приготовить нетленное тело Мировой Души; неорганизованный хаос – только он есть тело организующего начала»<sup>27</sup>. Белый цитировал выдержки из стихотворений Тютчева, концентрируя внимание поэта к хаотическому:

*Мир бестелесный, слышимый, но незримый  
Теперь роится в хаосе ночном ...*

*Прилив растёт и быстро нас уносит  
В неизмеримость тёмных волн...*

*И мы плывем, пылающею бездной  
Со всех сторон окружены ...*<sup>28</sup>

С творчеством поэта XIX в. Белый связывал тенденцию духовного национального развития: «Тютчев указывает нам на то, что глубокие корни пушкинской поэзии произвольно вросли в мировой хаос; этот хаос так страшно глядел еще из пустых очей трагической маски Древней Греции, углубляя развернутый полет мифотворчества»<sup>29</sup>. Теоретик и проповедник символизма как миропонимания не мог не заметить при этом принципиальной разницы между поэтами начала XX в. и поэтами XIX-го, «раздробившими» цельность пушкинской музыки, однако еще не сроднившимися с хаосом в такой степени, как их последователи.



Белый рассуждал: «Тютчев еще боялся хаоса: «О, бурь уснувших не буди: под ними хаос шевелится». Его хаос звучит нам издали, как приближающаяся ночная буря. Его хаос – хаос стихии, не воплотившийся в мелочи обыденной жизни. <...> И у Тютчева, и у Некрасова хаос глубин не сочетается еще с хаосом поверхностей так, чтобы образы видимости образовали стихии, и, наоборот, чтобы повседневные образы служили намеками стихийности. Кроме того, тютчевский славянофильский аристократизм должен сочетаться с некрасовской гражданственностью в одном пункте земляного титанизма»<sup>30</sup>. Вслед за Мережковским, написавшим статью «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев», А.Белый рассмотрел творчество двух поэтов как нечто однотипное по месту в истории культуры, хотя и акцентировал разницу – главным образом социологическую – между ними.

Линии традиций, с точки зрения Белого, пересекаются в творчестве Брюсова, возвращая поэзию к пушкинской цельности: «Прежде, нежели будет найдено нетленное, земляное тело русской поэзии, должно совершиться последнее восстание земляных гигантов. И оно совершается: стихийные силы разражаются в поэзии Брюсова землетрясением. В стихийные глубины мятущегося духа Брюсов вносит сплетения внешних условий жизни. С другой стороны, влагая хаотическое содержание в свои четкие, подчас сухие образы, он с каждым шагом подходит к некоей внутренней цельности. Тут обнаруживается его связь с Пушкиным: начало XIX в. подает руку началу XX в. Благодаря Брюсову мы умеем теперь смотреть на пушкинскую поэзию сквозь призму тютчевских глубин. Эта новая точка зрения открывает множество перспектив. Замыкается цикл развития пушкинской школы, открывается провиденциальность русской поэзии»<sup>31</sup>. Столь глобальную роль отводили Тютчеву также и другие символисты. «Тютчевские глубины» – нечто кардинально меняющее всю картину русской поэзии, – как дотютчевской, так и послетютчевской.

Вяч. Иванов дал определение поэзии Тютчева, которое все же не вполне соответствует тютчевским идеям и переживаниям. Сама зыбкость Тютчевым осмыслена как объективная данность, и ее логические определения не дают оснований для заключения, которое делает Иванов: «Такова природа этой новой поэзии – сомнамбулы, шествующей по миру сущностей под покровом ночи»<sup>32</sup>. Теоретик объединял черты новой поэзии и наследие поэта XIX в. в единый конгломерат. Но едва ли можно назвать тютчевскую Музу сомнамбулой. Здесь обобщение чрезмерно актуализи-

рует лишь одну сторону поэтического мировоззрения, которая в творческом мире Тютчева соединялась с другими, столь же значимыми.

Как справедливо заметил Вл. Соловьёв в связи с рассуждением о лирике природы у Тютчева, поэт «не только *чувствовал*, а и *мыслил*, как поэт, – <...> он был *убежден* в объективной истине поэтического воззрения на природу»<sup>33</sup>. Пересмотр мировоззрения поэта XIX в. символистами носил отпечаток тенденциозности: теоретики отчасти подчиняли Тютчева собственным идеям и представлениям о свойствах лирической поэзии. Тем не менее именно символисты во главе с Владимиром Соловьёвым и Брюсовым способствовали популяризации и научному изучению наследия Тютчева. Были виртуозно освоены также открытия предшественника в области поэтики, стиховой техники.

Некоторые принципы и частные приемы тютчевской лирики были настолько глубоко освоены Бальмонтом, что получили в критике наименование «бальмонтизмов», хотя впервые были многогранно разработаны мало тогда известным Тютчевым. Например, сложные прилагательные и наречия. Вот примеры из Тютчева: «бешено-игривый», «туманистобело», «громокипящий» (кубок), «светозарный», «тиховейно», «тихоструйно», «дымно-легко», «мгlisto-лилейно», «животрепетным»<sup>34</sup>. Такого рода текуче переходящих друг в друга определений у Бальмонта огромное количество. И вообще стремление передать подвижные природные и психологические явления вслед за Тютчевым Бальмонт довел до большой степени совершенства.

Акмеисты<sup>35</sup> во главе с Н.С.Гумилёвым также высоко ценили Тютчева. Для них привлекательна в Тютчеве та особенная слитность личности поэта с творчеством, о которой писал Иннокентий Анненский: «Важно прежде всего то, что поэт слил здесь свое существо со стихом и что это вовсе не квинтилиановское украшение, – а самое существо новой поэзии. *Стих не есть создание поэта*, он даже, если хотите, не принадлежит поэту. Стих неотделим от лирического *я*, это его связь с миром, его место в природе; может быть, его оправдание»<sup>36</sup>. Эти слова посвящены Бальмонту, но они о такой сущности новой поэзии, которая была уже реализована Ф.И.Тютчевым, а в начале века стала идеалом, а то и достоянием многих талантливых поэтов.

Друг А.А.Ахматовой Н.В.Недоброво, читавший лекции о Тютчеве и написавший о нем несколько статей, так характеризовал творческий облик поэта: «При первом знакомстве с творчеством Тютчева два впечат-

ления: впечатление ущемляющего все существо страдания и впечатление мысли о слиянии людской жизни с жизнью всего мира, воспринимаются слитно. И бессознательное восприятие не обманывает: внимательное вглядывание в творчество Тютчева укрепляет его. Не вещественные невзгоды жизни, не раны, полученные в борьбе, породили тютчевское страдание. Причины его глубже; мировая загадка личного бытия, бессилие души воцариться над миром – вот что томило художника, язвительно и длительно измождая его чувства и сознание. Страдание и слабость выражаются у Тютчева не только являясь непосредственным содержанием многих стихотворений, но они ушли и в форму его творчества, пропитав ее до такой степени, что ясно, для чуткого уха, зазвучали и в самом стихе высокой стонущей нотой»<sup>37</sup>.

О.Э.Мандельштам заявил: «Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания»<sup>38</sup>. Поэт назвал несколько книг своих стихов «Камень». Возможно, именно Тютчев дал толчок космизму Мандельштама, его осмыслению противостояния космоса и хаоса, его пристрастие к мифологическим картинам, деталям позднеантичной (эллинской) культуры.

Близкой Гумилеву оказалась тютчевская концепция противостояния Запада и Востока. «Золотое сердце России / Мерно бьётся в моей груди» написано в полном согласии с славянофильскими и патриотическими стихами поэта-предшественника. Метафизические ощущения (источком которых могло быть и творчество символистов) развернуты автором «Огненного столпа» (1921) в поистине роковые для него минуты и исполнены тютчевской глубины и осмысленной ясности. Ахматову, Гумилёву, Мандельштаму привлекала светлая сторона тютчевской поэзии. Но противоречие между красотой мира и его скрытыми изъянами они также ощущали и по-разному выразили в своих стихах.

Футуристы, хотя на первый взгляд они отгородились от культуры XIX в. непроходимой стеной, также не могли проигнорировать автора «Цицерона». Стихотворение Маяковского «Надоело» открывается упоминанием о том, что лирический герой дома читал стихи: «Анненский, Тютчев, Фет». Те же любимые имена Тютчева и Фета, что и у символистов, и у акмеистов... И тот же кумир акмеистов – Анненский. По сути, тютчевская пылающая бездна окружает в финале Человека Маяковского: «Погибнет все. / Сойдет на нет. / И тот, / кто жизнью движет, / последний луч / над тьмой планет / из солнц последних выжжет. / И только / боль

моя / острей – / стою, / огнем обвит, / на несгорающем костре / немислимой любви»<sup>39</sup>.

Однако для футуристов с их принципиально иным отношением к слову, отказом от постижения загадок и тайн бытия, Тютчев был, как правило, чужд, так же как и для некоторых акмеистов, лишенных религиозного понимания слова, например для М.Зенкевича.

Есенину, пожалуй, ближе всего оказалась лирика природы и любовная поэзия Тютчева. Тютчевский праздник весны, возрождения и тютчевская тревога в связи с мимолетностью жизни, кратковременностью пребывания человека на земле не только унаследованы Есениным, но и воспеты по-новому его оригинальным звонким голосом. Запечатленная Тютчевым чувственность перерастает у Есенина в «чувственную вьюгу». Очарование женщины, ее искренность и грусть, процесс невосполнимых утрат в развитии любовной драмы, желание очищения перед ее духовной высотой – эти мотивы по-разному варьируются Есениным, и здесь учительство Тютчева несомненно, хотя проявляется сложно и через многие опосредования (возможно, через Блока, Белого).

Из крестьянских поэтов ближе всего к Тютчеву, пожалуй, С.А.Клычков. Интерес к природному мифологизму, трагическим изломам современной России, интуитивное стремление постичь народную душу и обрести веру в мистическое предназначение России клычковский герой укрепил в послеоктябрьском творчестве, вопреки тенденциям времени. Возможно, что его приверженность к тютчевским тенденциям и послужила поводом для репрессий против него. Но он недаром был уважаем, а его стихи ценимы современниками, среди которых – Ахматова и Мандельштам.

Наследие Тютчева вошло в русскую поэзию XX в. как ее центральная идеологическая, духовная праснова, мощный творческий импульс для многих, если не для большинства творческих индивидуальностей. Насколько глубоко и широко был «освоен» Тютчев другими поэтами, – показывает огромное количество эпиграфов к стихотворениям и поэмам, реминисценции, прямое цитирование, применение родственных композиционных и логико-психологических принципов организации лирических текстов. Тютчевское бережное, религиозное отношение к слову и в советской России, и в Русском зарубежье для поэтов XX в. утвердилось как эталон настоящего искусства.

#### Примечания

1. *Соловьёв В.С.* Поэзия Ф.И.Тютчева // *Соловьёв В.С.* Чтения о богочеловечестве; Статьи; Стихотворения и поэма; Из «Трёх разговоров»: Краткая повесть об Антихристе. – СПб.: Художественная литература, 1994. – С. 357.
2. *Тютчев Ф.И.* Сочинения: Стихотворения и политические статьи. С портретом и снимком с рукописи автора / Предисловие Ивана и Дарьи Тютчевых. 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 1900.
3. *Тютчев Ф.И.* Стихотворения. М.: Издание «Русского Архива», 1899.
4. *Лейбов Р.Г.* Незамеченный цикл Тютчева // *Лотмановский сборник*. М.: Изд-во «ИЦ-Гарант», 1995. – Т.1. – С. 524.
5. *Брюсов В.* Легенда о Тютчеве // *Новый Путь*, 1903. – Кн. 9. – С. 16–30; *Брюсов В.* Ф.И.Тютчев. Летопись его жизни // *Русский Архив*, 1903. – Кн. 3. – № 11, 12. – С.481–498, 641–652; *Брюсов В.* Ф.И.Тютчев, смысл его творчества // *Брюсов*. Далекие и близкие: Сборник статей и заметок о русских поэтах от Тютчева до наших дней. – М., 1912. – С. 1–17.
6. Напр.: *Брюсов В.Я.* Ф.И. Тютчев.: Критико-биографический очерк // *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. 7-е изд. / Под ред. П.В.Быкова. СПб.: Т-во А.Ф.Маркс, [1911]. – С. VII – XLVII; *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. С критико-биографическим очерком В.Я.Брюсова «Ф.И. Тютчев». 8-е изд. – СПб., 1913.
7. [*Брюсов В.*] Письма Ф.И. Тютчева к П.Я.Чаадаеву // *Русский архив*, 1900. – Кн. 3. – № 11. – С.410–420 – предисловие к публикации.
8. *Горнфельд А.Г.* О русских писателях. – СПб., 1912. – Т. 1. – С. 3.
9. *Иванов В.И.* Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. – С.180.
10. Здесь и далее стихи Тютчева цитируются по изданию: *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч.: В 6 т. / Сост. В.Н.Касаткина. М.: Изд. Центр «Классика», 2002–2003 – с указанием тома и страницы в скобках после цитаты.
11. *Талов М.-Л.* Двойное бытие. Париж: Изд-во «Франко-русская печать», 1922.
12. *Иванов В.И.* Родное и вселенское. – М.: Республика, 1994. – С. 181.
13. Там же.
14. *Блок Л.Д.* И были и небылицы о Блоке и о себе // *Две любви, две судьбы: Воспоминания о Блоке и Белом* / Вступ. статья В.В.Нехотина. – М.: Изд. дом XXI век – Согласие, 2000. – С. 22–142.
15. Там же. – С. 55.
16. *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. – М.; Л., 1960–1963. – Т. 8. – С. 395. Далее ссылки на это издание с указанием тома и стр. после литеры Б в скобках.
17. *Оцуп Н.А.* Современники. – Париж, 1961. – С.139.
18. *Берберова Н.* Александр Блок и его время: Биография / Пер. с фр. А.Курт, А.Райской. – М.: Независимая газета, 1999. – С. 254.

19. Здесь и далее письма Тютчева цитируется по изданию: *Тютчев Ф.И. Сочинения*: В 2 т. – М.: Правда, 1980 – с указанием тома и страницы после литеры «Т» в скобках после каждой цитаты.
20. Литературное наследство. – М.: Наука, 1978. – Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. – С. 243.
21. Там же. – С. 368.
22. Там же. – С. 376–377.
23. *Тютчев Ф.И. Сочинения. Стихотворения и политические статьи. 2-е изд., испр. и доп.* – СПб., 1900. – С. 474.
24. Там же. – С. 475.
25. Литературное наследство. – М.: Наука, 1978. – Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. – С. 376–377.
26. Конкретные наблюдения за трансформацией тютчевских идей и образов у Блока содержатся в кн.: *Касаткина В.Н. Поэзия Ф.И. Тютчева: Пособие для учителя.* – М.: Просвещение, 1978.
27. *Белый А. Символизм как миропонимание.* – М.: Республика, 1994. – С. 412.
28. Там же.
29. Там же.
30. Там же. – С. 413.
31. Там же.
32. Там же.
33. *Соловьёв В.С. Поэзия Ф.И.Тютчева // Указ. соч.* – С. 359.
34. См.: *Григорьева А.Д. Слово в поэзии Тютчева.* – М.: Наука, 1980.
35. Тютчевским традициям у акмеистов посвящена специальная работа: *Видюченко С.И. Творчество Ф.И. Тютчева в восприятии акмеистов: Автореф. ... канд. филолог. наук.* – М.: МПГУ, 1997.
36. *Анненский И.Ф. Избранное.* – М.: Правда, 1987. – С. 301.
37. РГАЛИ. Фонд Недоброво Н.В. № 1811. Описание 1. Ед. хр. 12. Л. 3.
38. *Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 4 т. – Т. 1.* – М., 1993. – С. 178.
39. *Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. – Т. 1.* – М.: Художественная литература, 1955. – С. 272.

Г.В. Чагин, Л.Е. Петрова

## СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ЦЕНЗУРЕ

Двадцать пять лет из семидесяти прожитых Тютчев отдал служению российской цензуре — факт, сам по себе впечатляющий<sup>1</sup>. Причем, именно в эти годы, с 1848 по 1873, происходит его служебный, творческий, поэтический, духовный расцвет, в это время поэта по праву причисляют «к русским первостепенным поэтическим талантам»<sup>2</sup>. О поэзии Тютчева написано достаточно много исследований, не менее интересно познакомиться с проблемами, которые решал поэт, состоящий на службе российской цензуре.

1 февраля 1848 г. Тютчев был назначен чиновником особых поручений 5-го класса и старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел<sup>3</sup>. Во времена вступления поэта на стезю служения цензуре она руководствовалась еще уставом 1828 г. и подчинялась Министерству народного просвещения. По сравнению с цензурным уставом 1826 г., он давал толчок значительному развитию множественности цензуры. Так, например, книги и журналы по медицине помимо общей цензуры должны были быть подвергнуты цензуре медицинской Академией или медицинскими факультетами университетов; цензурование военной газеты «Русский инвалид» было передано Главному штабу и т.д. По этому же принципу имело свою цензуру и Министерство иностранных дел. Устав 1828 г. просуществовал вплоть до первых лет царствования Александра II, и поэтому все дальнейшие изменения в его содержании проходили на глазах Тютчева, а со второй половины 1850-х годов и не без его частичного вмешательства.

Вступление Тютчева в должность старшего цензора совпало по времени с учреждением 2 апреля 1848 г. секретного Комитета по делам печати («для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением нашего книгопечатания»<sup>4</sup>) под председательством действительного тайного советника Дмитрия Петровича Бутурлина, тогда еще директора Императорской публичной библиотеки. В комитет также вошли барон Модест Андреевич Корф, сменивший потом в директорстве Бутурлина и руководивший Публичной библиотекой вплоть до 1861 г., а также статс-секретарь Павел Иванович Дегай, великолепный русский юрист-правовед. Комитет этот, «род нароста в нашей администрации», по замечанию самого же Корфа, тайно просуществовал вплоть до 6 декабря 1855 г., принеся российской печати еще более жестокий прессинг, отчего и время это получило название «эпохи цензурного террора»<sup>5</sup>.

Назначение Тютчева, чиновника МИД, цензором было не случайным. Двадцатилетний опыт работы в дипломатической миссии, знание многих европейских языков и иностранной литературы как бы сами собой определили его новое место службы. Вероятно, этому поспособствовал и князь П.А.Вяземский, тогда уже влиятельный чиновник и литератор, заинтересованный в том, чтобы среди чиновников цензуры находился и «свой брат», литератор. Весной 1848 г. Вяземский подал в правительство «Записку о цензуре». В ней он, в частности, ратовал за издание правительственного журнала или газеты, сетовал на невнимание высших правительственных лиц к литературе и выступал за известный простор «для выражения мнений и для рассмотрения общественных вопросов»<sup>6</sup>.

Во второй половине 1840-х годов Вяземского и Тютчева уже связывали приятельские отношения, и, вероятно, князь, старший по возрасту и положению, в какой-то мере повлиял на Федора Ивановича при выборе им места службы и поспособствовал ему. Записка князя была принята благосклонно, и государь-наследник в ней «изволил заметить некоторые полезные мысли»<sup>7</sup>. Правда, все ограничилось только награждением Петра Андреевича орденом Св. Станислава 1-й степени.

Факт этот, замеченный в семье Тютчевых, имел, кстати, интересное продолжение. Двенадцать лет спустя состоялось знаменательное событие, о котором Дарья Тютчева сообщила сестре Анне 1 сентября 1861 г.: «Папа представлен к ордену Станислава 1-й степени, у которого голубая лента. Вот папа и украшен лентой. Горчаков сообщил ему эту но-



вость под строжайшим секретом... Мама радуется этому потому, что тем самым устанавливается равновесие между Вяземским и папа»<sup>8</sup>.

С учреждением «Комитета 2 апреля 1848 г.» репрессии цензуры увеличились. «Я заходил в цензурный комитет, — записывал в дневнике А.В.Никитенко. — Чудные дела делаются там. Например, цензор Мехелин вымарывает из древней истории имена всех великих людей, которые сражались за свободу отечества или были республиканского образа мыслей — в республиках Греции и Рима. Вымарываются не рассуждения, а просто имена и факты. Такой ужас навел на цензоров Бутурлин с братией...»<sup>9</sup>.

5 марта 1849 г. за свои «Рижские письма», в которых он возмущался немецкой политикой в Прибалтике, угодил в Петропавловскую крепость Ю.Ф.Самарин. 31 мая того же года «Комитет 2 апреля» «самым решительным образом» запретил «на каком бы языке ни было, критики, как бы они благонамеренны ни были, на иностранные книги и сочинения, запрещенные и потому не должны быть известными»<sup>10</sup>. Это предложение поступило от Комитета цензуры иностранной, который в эпоху цензурного террора возглавлял осмеянный еще А.С.Пушкиным А.И.Красовский. В Россию был прекращен всякий легальный доступ иностранной литературы, в основном той, которая ввозилась в Петербург и Москву.

Неприятности от Комитета мог бы ожидать и Тютчев. Так, 11 мая 1849 г. в 103-м номере «С.-Петербургских ведомостей» появился очерк о событиях в Тосканском великом герцогстве. Автор указывал в нем на бедственное положение страны и вспоминал, какое благосостояние было у тосканцев, когда они были под защитой законов и своих государей, особенно герцога Леопольда I. Его нововведения сохранили за знатными гражданами одни только наследственные титулы без всяких сохраняющихся до того преимуществ. То же было сделано и для духовенства, все граждане стали равны перед законом. Цензура сразу усмотрела «такое направление несообразным духу наших установлений и потому предосудительным для круга читающей газеты публики». «Комитет 2 апреля» предложил министру народного просвещения, призвав редактора А.Н.Очкина, «сделать ему соответственное вразумление». На предложении была резолюция государя: «Дельно»<sup>11</sup>.

Очкин пытался оправдаться тем, что «внешнеполитический отдел этой газеты цензуровался Министерством иностранных дел» и в доказательство представил корректуру статьи, пояснив при этом: «Иерог-

лифы, начертанные наверху, значат: печатать позволяется. Цензор Ф.Тютчев». К делу приложен экземпляр корректуры с очень неразборчивой надписью: «п. п. Ф.Тютчев»<sup>12</sup>.

Скорее всего, Тютчев не только не пострадал от подобного инцидента, но даже вряд ли узнал о нем, так как с 16 мая находился в отпуске, который проводил в Овстуге<sup>13</sup>. Впрочем, если бы Тютчев и пребывал в это время в Петербурге, ему мало что угрожало бы — в конце 1840-х — начале 1850-х годов он уже приобрел широкую популярность в общественных и правительственных кругах, благодаря написанным им статьям и откликам на них в зарубежной печати<sup>14</sup>. Кроме того, Тютчев был желанным гостем в петербургских и московских салонах и даже при дворе, снискав благосклонность женской половины царской семьи.

О работе цензоров и, в частности Тютчева, вспоминал помощник редактора официального органа правительства, газеты «Северная пчела» П.С.Усов: «Все известия и статьи, касавшиеся внешней политики, дозволялись к печати в тогдашних газетах не обыкновенною цензурою, но назначенными для этой цели чиновниками министерства иностранных дел. Они чередовались по неделям. <...> Федор Иванович Тютчев (известный поэт) пропускал к печати все, что ни посылалось ему на одобрение. По своим большим связям, имея доступ к графу Нессельроде и к князю Горчакову, он разрешал гораздо более, чем обыкновенный чиновник министерства. Получал ли Ф.И.Тютчев за свой цензурный либерализм замечания, редакторы не знали, потому что он никогда не являлся в редакции с упреками, что его “подвели”. Это была в высшей степени благородная личность»<sup>15</sup>.

Черным деянием «Комитета 2 апреля» в 1852 г. стали гонения на первый номер славянофильского «Московского сборника». Председатель Комитета Н.Н.Анненков (сменивший умершего Бутурлина) и министр народного просвещения П.А.Ширинский-Шихматов (сменивший в октябре 1849 г. ушедшего в отставку С.С.Уварова) усмотрели в «зловредном альманахе» статьи И.С.Аксакова «Несколько слов о Гоголе», И.В.Киреевского — «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» и, особенно, в статье К.С.Аксакова «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности» много крамольных мыслей. Травля, начавшаяся с подчинения сборника тем же правилам цензуры, что и периодическая печать, закончилась полным его закрытием в марте 1853 г. Ивана Аксакова лишили прав быть редактором каких бы то ни было изданий, и к тому же над ним, его братом Константином,

А.С.Хомяковым, И.В.Киреевским и князем Черкасским, «как людьми открыто неблагонамеренными», установили явный полицейский надзор<sup>16</sup>.

Порой действия цензуры вынуждали литераторов решаться на невероятные поступки. Отчаявшись преодолеть ее препоны, О.И.Сенковский (Барон Брамбеус), писатель, которого знала вся грамотная Россия, в 1853 г. вынужден был оставить занятия литературой и заняться продажей табачных изделий. Тем же стал заниматься и М.М.Достоевский, брат знаменитого писателя.

Известен, пожалуй, лишь один случай, когда Тютчев, вероятно, получил выговор «из-за этой злосчастной цензуры». 23 июля 1854 г. он сетовал жене, находившейся с детьми в Овстуге: «Намедни у меня были кое-какие неприятности в министерстве — все из-за этой злосчастной цензуры. Конечно, ничего особенно важного — и, однако же, если бы я не был так нищ, с каким <наслаждением> я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего кретинизма. Что за отродье, великий Боже, и вот за какие-то гроши приходится терпеть, чтобы тебя распекали и пробирали подобные типы!»<sup>17</sup>. Но, вероятнее всего, этот инцидент не был связан с его непосредственной службой, и вот почему.

Неприятности у Тютчева начались в марте 1854 г., когда в 44-м томе журнала «Современник» в числе других было напечатано без заглавия его стихотворение «Пророчество» («Не гул молвы прошел в народе...»), которое прочел и Николай I; последние два стиха: «Пади пред ним, о царь России, // И встань как всеславянский царь!» — государь зачеркнул и написал на полях журнала: «Подобные фразы не допускать»<sup>18</sup>. Его неудовольствие было доведено до сведения министра народного просвещения А.С.Норова, канцлера К.В.Нессельроде и начальника III отделения А.Ф.Орлова. Началось повсеместное, на всех уровнях разбирательство, кто допустил, кто разрешил, кто виноват и т.д. Резонанс от этого следствия дошел и до Москвы. В частности, было заведено дело и в канцелярии попечителя Московского учебного округа «О стихотворении Ф.Тютчева, помещенного в “Современнике”» (разбиралось с 20 по 26 марта 1854 г.)<sup>19</sup>, а потом его передали в канцелярию Московского гражданского губернатора (начато 2 апреля, окончено 1 мая 1854 г.)<sup>20</sup>. Вероятно, к июню дело вернулось в Петербург, и после его всестороннего об-

суждения Тютчеву было объявлено, скорее всего, личное порицание уже непосредственно по линии цензуры. При подготовке к печати отдельного сборника стихотворений Тютчева, изданных «Современником» в 44-м и 45-м томах, в 1854 г. это стихотворение было исключено.

Смерть императора, последовавшая 18 февраля 1855 г., как бы разрядила гнетущую обстановку в России. 10 апреля В.С.Аксакова записывает в дневнике: «Все чувствуют, что делается как-то легче... Тютчев Ф.И. прекрасно назвал настоящее время оттепелью. Именно так. Но что последует за оттепелью?»<sup>21</sup>. 21 мая поэт делится с женой наболевшим: «По-видимому, то же недомыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, оказалось и в нашем военном управлении, да и не могло быть иначе. Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела или ограничения — ничто не было пощажено, все подверглось этому давлению, всё и все отупели»<sup>22</sup>. Высказывания Тютчева о сплошном подавлении мысли в России целиком войдут потом в его «Письмо о цензуре в России».

В августе 1855 г. П.А.Вяземский был назначен товарищем министра народного просвещения. В этой должности он руководил Главным управлением цензуры и делал некоторые попытки ограничить цензурный произвол. «У него с государем был разговор о цензуре довольно утешительный, который вам, верно, Тютчев пересказал», — писала А.Д.Блудова М.П.Погодину 21 августа того же года<sup>23</sup>.

Примерно в это же время начала распространяться во многих копиях записка курляндского губернатора П.А.Валуева «Дума русского во 2-й половине 1855 г.». Написанная с верноподданнических позиций, она тем не менее критиковала систему государственного управления и, в частности, цензуру в России. Кроме симпатий интеллигенции записка вскоре открыла ее автору путь в правительственные сферы. С новым государем внешне переродился и барон Корф, представивший всеподданнейший доклад, в котором констатировал, что «Комитет 2 апреля» «окончательно совершил свое назначение и (...) становится отныне совершенно излишним в цензурной администрации звеном»<sup>24</sup>. 6 декабря 1855 г. «Комитет 2 апреля», державший в страхе в течение семи лет всю пишущую братию, был упразднен, положив тем самым конец «эпохе цензурного террора».

Смягчение цензурного гнета почувствовалось разрешением открытия сразу нескольких периодических изданий: «Русского вестника»,

«Русской беседы», «Сына Отечества», «Живописной старины», «Русского слова». Благодаря заступничеству товарища министра народного просвещения князя Вяземского, которому с начала 1857 г. было практически подчинено все цензурное ведомство, цензура стала снисходительнее и к сочинениям классиков. В марте Александр II повелел безотлагательно заняться новым цензурным уставом. Состоянием российской прессы на манер европейской вынужден был заняться и министр иностранных дел князь А.М.Горчаков, с которым у Тютчева начали складываться хорошие отношения. «Он — не заурядная натура и с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. У него — сливки на дне, а молоко на поверхности»<sup>25</sup>, — уже мог себе позволить сострить поэт по поводу своего начальника.

7 апреля 1857 г. Тютчев был произведен в действительные статские советники. В октябре Горчаков предлагает Тютчеву быть редактором газеты или нечто в этом роде. Однако Тютчев предвидит множество препятствий на этом пути и «составляет записку, которую Горчаков должен представить государю; в ней он показывает все трудности дела»<sup>26</sup>. Вероятно, в начале ноября работа уже была закончена и представлена по назначению<sup>27</sup>. В начале декабря рукописный вариант «Письма о цензуре в России» широко обсуждался даже в Москве: «Рукопись моего брата произвела здесь то впечатление, которое и должна была произвести», — сообщал Н.И.Тютчев жене поэта<sup>28</sup>.

В конце 1857 г. сложилась ситуация, способствовавшая в дальнейшем повышению Тютчева по службе. Вероятно, и Горчаков понимал, что человеку с таким обширным опытом работы, действительному статскому советнику уже не годится ходить в цензорах, пусть даже и в старших. Заслуги поэта были признаваемы и в научном мире, о чем свидетельствовало его избрание 29 октября в члены-корреспонденты Академии наук по Отделению русского языка и словесности<sup>29</sup>. К тому времени освободилась и серьезная чиновничья должность — 10 ноября 1857 г. умер семидесятисемилетний председатель Комитета цензуры иностранной имевший репутацию ретрограда А.И.Красовский<sup>30</sup>.

В самом начале 1858 г. в стране происходят студенческие волнения, государь высказывает свое неудовольствие, отчего министр народного просвещения А.С.Норов вынужден был 16 марта подать в отставку. Следом за ним вышел в отставку и П.А.Вяземский. Уже 23 марта был назначен новый министр — бывший попечитель Московского учебного округа Евграф Петрович Ковалевский, хорошо знакомый

Тютчеву. Товарищем министра стал тайный советник, сенатор Николай Алексеевич Муханов.

На три месяца пустовавшее место председателя Комитета цензуры иностранной новый министр просвещения представил государю три кандидатуры: старшего цензора, действительного статского советника Г.Р.Дукшита-Дукшинского, чиновника особых поручений при МИД, графа Е.Е.Комаровского и Ф.И.Тютчева. Вероятно, не без протекции Горчакова, оставшегося довольным «Письмом о цензуре в России», благодаря личному знакомству с Ковалевским, а также влиянию при дворе дочери поэта Анны «председателем Комитета цензуры иностранной с оставлением в ведомстве Мин. Иностр. Дел» был назначен действительный статский советник Тютчев. 17/29 апреля 1858 г. приказ подписал министр Е.П.Ковалевский<sup>31</sup>.

Как видно, поэт остался доволен новым назначением. «Я рада, что Федор охотно занимается должностью, — желательно, чтоб она ему не надоела», — с тютчевским сарказмом писала Д.И.Сушкова племяннице Е.Ф.Тютчевой<sup>32</sup>. Своими новостями по службе Тютчев теперь часто делится с женой: «В понедельник я обедал у князя Щербатова, попечителя университета, в обществе господ Хрущева и Валуева. Разумеется, за этим обедом только и говорилось, что о печати, о цензуре, о нахальной глупости одних, о малодушии других, о неспособности всех и т.д.»<sup>33</sup>.

Вскоре многие убедились, что Ковалевский, с которым вынужден был часто общаться и Тютчев, не оправдывает надежд, которые на него возлагали в смысле смягчения цензурного гнета. «Евграф Ковалевский <...> — кисель, допустивший в свое министерство вмешательство жандармов, графа Панина, всякого встречного и поперечного», — сетовал И.С.Аксаков<sup>34</sup>. В этом вскоре убедился и Тютчев, давший еще более жесткую характеристику Ковалевскому: «Он тоже ничем не сильнее своих предшественников и оставит дела как раз в том же самом положении, как до него. Но надо также сказать, что при существующих условиях ничего и невозможно сделать, и заданная задача попросту неразрешима; ведь дело идет ни более, ни менее, как о том, чтобы заставить исполнить ораторию Гайдна людей, никогда не бывших музыкантами и вдобавок глухих. Предприятие до такой степени бессмысленное в полном смысле этого слова, что надо быть самому глупцом, чтобы поверить в возможность успеха»<sup>35</sup>.

Тютчев оказался одним из первых, кто понял вредность для российской цензуры внедрения очередного заграничного проекта ее рефор-

мирования. 5 октября 1858 г. А.В.Никитенко записал в дневнике: «Федор Иванович рассказал мне, между прочим, о проекте, присланном сюда из Берлина нашим посланником, бароном Будбергом, который предлагает, по примеру Франции, учредить наблюдательно-последовательную цензуру.

– Хорошо! а нынешняя предупредительная останется? – спросил я.

– В том-то и дело! – отвечал Тютчев.

Был уже по высочайшему повелению назначен для рассмотрения проекта и комитет из князя А.М. Горчакова, князя <В.А.> Долгорукова, <А.Е.> Т<имашева>, нашего министра <Ковалевского> и Тютчева. Последний сильно протестовал против этой двойственности цензуры – “предупредительной и последовательной”. Наш министр с ним соглашался»<sup>36</sup>.

Как ни странно, но вполне можно предположить, что Тютчеву удалось убедить назначенный комитет не принимать проект Будберга. Он мог напомнить свое «Письмо о цензуре в России» и о его одобрении Горчаковым и, возможно, государем. Во всяком случае, 12 октября 1858 г., после заседания у Ковалевского, А.В.Никитенко записал: «Было много говорено о цензуре и о проекте составить особенное бюро, которое бы не административно, а нравственно занималось направлением литературы. Я заметил, что это чистая мечта. Министр того же мнения, но говорит, что некоторые этого желают»<sup>37</sup>.

Здесь под некоторыми вполне можно подразумевать Горчакова и Тютчева. Ведь в «Письме о цензуре в России» последнего было ясно сказано: «Цензура служит пределом, а не руководством. А у нас в литературе, как и во всем остальном, вопрос не столько в том, чтобы подавлять, сколько в том, чтобы направлять. Направление мощное, разумное, в себе уверенное направление – вот чего требует страна, вот в чем заключается лозунг всего настоящего положения нашего»<sup>38</sup>. И как следствие нашего предположения – обсуждение в декабре Советом Министров образования нового учреждения, цель которого сводилась бы к следующему: «1) Служить орудием правительства для приготовления умов посредством журналов к предпринимаемым мерам; 2) направлять по возможности новые периодические литературные издания к общей государственной цели, поддерживая обсуждение общественных вопросов в видах правительственных»<sup>39</sup>. Несмотря на заметную редакцию вопросов впоследствии, тютчевская мысль здесь вполне прослеживается.

Параллельно уже на всех уровнях гласно и негласно шло обсуждение состава будущего направляющего органа. 14 ноября 1858 г. Плетнев сообщал кн. Вяземскому: «По слухам, предположено эту комиссию составить из Н.А.Муханова, Ив. Матвеев. Толстого, Ф.И.Тютчева и Ив. Серг. Тургенева»<sup>40</sup>. 21 декабря кн. П.В.Долгоруков сообщает Н.В.Путяте, «что вместо лиц, назначенных в высший комитет для разрешения цензурных недоумений, Евгр. П. Ковалевский просил назначить литераторов: Тютчева, Тургенева [И. С.] и др. Государь рассердился и сказал: “Что твои литераторы! Ни на одного из них нельзя положиться!”»<sup>41</sup>.

В этом месте нельзя не привести слова из «Письма о цензуре в России», где Тютчев верноподданнически, говоря о сословии писателей, заявляет, что «едва ли в обществе можно найти другой разряд людей более благоговейно преданных Особе Государя!»<sup>42</sup>. И вот получил за это раздраженный ответ, что, оказывается, «ни на одного из них нельзя положиться».

В конце концов 24 января 1859 г. Александр II подписал высочайшее повеление об учреждении негласного «Комитета по делам книгопечатания». Его возглавил граф А.В.Адлерберг 2-й, а членами стали Н.А.Муханов и А.В.Тимашев. Тютчев тут же метко окрестил комитет прозвищем «троемужие», удивительно всем запомнившимся.

О самой же службе Тютчева в 1858 г. и подчиненного ему Комитета цензуры иностранной мы частично находим сведения в Отчете Комитета за этот год, заключительная часть которого скорректирована самим председателем<sup>43</sup>. Тютчев пишет: «Принимая в соображение развитие русской литературы, я старался дать больший простор и иностранной»; при этом он учитывал, что после революции 1848 г. прошло немало времени, и теперь, когда «страсти в Европе утихли <...> все внимание Цензуры должно было обратиться на действительно вредные сочинения, не придираясь к мелочам или отдельным словам». Особое внимание и бдительность иностранной цензуры вызывало «открытие во многих европейских городах русских типографий, в которых издаются возмутительные сочинения. Разумеется, что с ними поступает самым строгим образом и они не выдаются никому, ни под каким видом»<sup>44</sup>. Надо сказать, что еще в своем «Письме о цензуре в России» Тютчев свидетельствовал об основании «русской печати за границу, вне всякого контроля нашего правительства. <...> Было бы бесполезно скрывать уже осуществившиеся успехи этой литературной пропаганды»<sup>45</sup>.



В отчете же своего Комитета за 1858 г. Тютчев не без удовлетворения констатирует, «что деятельность чиновников, как Комитета цензуры иностранной, так и иногородных цензурных комитетов, а равно и отдельных цензоров в Ревеле и Дерпте (...) в этом году не уменьшалась, а напротив увеличилась числом рассмотренных книг в значительном количестве». В дальнейшем же председатель Комитета намеревался «для успешного действия Иностранной цензуры сделать значительные преобразования в оной»<sup>46</sup>.

Столь напряженная деятельность в течение года, по-видимому, утомила поэта. И Горчаков по просьбе своего подчиненного предоставил ему «получение курьерской дачи на проезд морем через Штеттин в Берлин». Тютчев на время оставил свои цензорские обязанности. 9/21 мая 1859 г. он выехал за границу и возвратился оттуда 2/14 ноября<sup>47</sup>.

12 ноября по инициативе министра народного просвещения Е.П.Ковалевского на заседании Совета Министров было принято важное решение – отделить Главное управление цензуры от Министерства народного просвещения, составив из него особое официальное государственное учреждение, и слить с ним Комитет по делам книгопечатания. А 24 января 1860 г. Комитет по делам книгопечатания был вообще упразднен.

В начале января этого года произошло и другое событие, касавшееся в основном Федора Ивановича и его семьи. Об этом жена поэта написала падчерице Дарье: «Сообщаю тебе, дорогая, что отец твой недавно был награжден самым скромным образом – Владимиром 3-й степени на шею. Приходить в восторг нет причины, и Любимый еще не решился украсить себя этим орденом. Сделал ему этот сюрприз министр Ковалевский, который попросил для него орден. Что до меня, я нахожу, что мне испортили Старика, я предпочитаю его без всяких орденов»<sup>48</sup>.

В 1860, как и в прошлом году, Тютчев почти шесть месяцев (с 20 июня до 1 декабря) пробыл в отпуске за границей. Столь долгое время за своего начальника оставался один из способнейших чиновников Комитета граф Е.Е.Комаровский. С его помощью был составлен отчет за минувший год, который подписал Тютчев. Особенно удалась в отчете заключительная часть, где дана характеристика иностранной литературы за 1860 г. по отношению ее к цензурным постановлениям в России.

«Давно уже литература народов западных не представляла такого брожения, такой борьбы совершенно друг другу враждебных начал или

убеждений религиозных, философских и политических. Эта борьба не может быть тайной для образованного класса русских читателей, для большинства которых западные теории или увлечения партии служат более предметом любопытства, нежели насущной потребности. В совершенной слепоте и неведении нет возможности оставлять русскую публику – Иностранная цензура в России должна была только, тщательно отличая в массе книг, идущих к нам из-за границы, сочинения положительно вредные для всех по своему влиянию, не допускать их в публику.

К числу таковых вредных сочинений принадлежали в прошлом 1860 г.: Во-первых, книги философского содержания с крайне рациональным или материальным направлением, отвергающие всякую возможность существования Бога и всякую надежду на бессмертие души за гробом. <...> во-вторых, книги религиозные, с полемическим характером или направленные против догматов русской церкви. <...> В-третьих, книги исторические, в которых говорилось о России. Комитет <...> цензуры иностранной, рассматривая сочинения исторические, по большей части старался обращать внимание на места, относящиеся к Русской истории, и исключал их, если находил их противными уставу о цензуре. <...> В-четвертых, брошюры, заключающие в себе воззвания к польскому народу, писанные по большей части на польском языке польскими эмигрантами, или сборники патриотических стихотворений в том же духе, <...> и в-пятых, безнравственные романы и повести, которыми по большей части отличалась литература французская. <...>

Вообще, сочинений серьезных, научных было в прошлом году, так же как и в 1859 г., ввезено в Россию гораздо более, чем сочинений легких и для приятного препровождения времени написанных. Комитет цензуры иностранной не был так строг в рассматривании тех книг, которых тяжелый, сухой, метафизический или философский язык не может быть доступен поверхностно-образованной массе читателей и, стало быть, не может иметь на нее такого влияния, как сочинения о тех же предметах, но изложенных на языке легком и популярном.

В заключение имею честь донести Вашему Высокопревосходительству, что все действия Цензуры иностранной, осторожно приравниваясь к духу и потребностям современного нам русского общества и устраняя все положительно для него вредное или не своевременное, вполне были согласны с видами нашего Правительства.

Председатель Комитета цензуры иностранной  
*Ф.Тютчев*<sup>49</sup>.

Архивные разыскания последних десятилетий позволили выявить и еще одну сторону общественно полезной деятельности поэта, уже возглавившего Комитет цензуры иностранной. Найденные в Архиве Российской национальной библиотеки более 60 писем Тютчева, касающихся его службы в Комитете<sup>50</sup>, рассказывают, в частности, о его заботе в пополнении старейшей российской библиотеки книгами, остающимися невостребованными в Комитете после их просмотра цензорами. Об этом рассказывает переписка поэта с директором императорской Публичной библиотеки бароном М.А.Корфом.

Думается, что почтительное обращение Тютчева к Корфу было далеко не случайным. В конце 1858 г. предполагалось слияние Комитета по делам печати с Главным управлением цензуры, и Корф не без оснований рассматривался как один из главных кандидатов на пост председателя нового цензурного ведомства. Для поэта, недавно назначенного председателем Комитета цензуры иностранной, было важно, кто будет его новым начальником. Однако, по замечанию бывшего в курсе всех цензурных дел А.В.Никитенко, «Корф слишком поспешил добиваться популярности, а главная ошибка, что он показал свое желание ее добиваться»<sup>51</sup>. В конце концов проект слияния Комитета и Главного управления цензуры не был осуществлен.

28 июня 1861 г. место Ковалевского занял адмирал, граф Ефим Васильевич Путятин. Тогда же министром внутренних дел, сменив либерального графа С.С.Ланского, был назначен П.А.Валуев, вскоре начавший исподволь борьбу за подчинение цензуры своему министерству. А уже в декабре того же года министром народного просвещения был назначен Александр Васильевич Головнин, ставленник великого князя Константина Николаевича. Новый министр немало сделал для предотвращения студенческих беспорядков, ввел в 1863 г. новый университетский устав, отправил много молодых людей за границу на обучение, удвоил средства Министерства просвещения, высоко подняв его значение в обществе.

В марте 1862 г. было упразднено Главное управление цензуры, находившееся в ведении Министерства народного просвещения. Цензурные учреждения были пока оставлены в ведении этого министерства, а надзор за соблюдением печатью цензурных постановлений поручен Министерству внутренних дел. Тогда же, в марте, была образована Комиссия для пересмотра постановлений по делам печати, во главе которой

был поставлен князь Дмитрий Александрович Оболенский, добрый приятель И.С.Аксакова, через него имевший хорошие отношения и с Тютчевым.

Нововведения подтолкнули к активным действиям и председателя Комитета цензуры иностранной. В частности, Тютчевым на просмотр министру был подан проект нового документа: «О некоторых изменениях в порядке цензурного рассмотрения иностранных книг». Вероятно, что-то помешало дальнейшему ходу документа целиком, и он более чем на столетие осел в бумагах В.А.Цез, председателя Петербургского цензурного комитета. Отдельные положения документа, в которых угадывается рука Тютчева, представляют интерес. Характеризуя существующее состояние цензурных учреждений по отношению к иностранным книгам, Тютчев спрашивает «Высочайшее соизволение <...> на приведение в исполнение следующего:

1, отменить обязательную отсылку из таможен в цензурные учреждения и к местным начальникам книг, принадлежащих приезжающим из-за границы пассажирам, если у них окажется не более одного экземпляра каждого сочинения, кроме русских, напечатанных за границею. Сии последние во всяком случае отсылать в ближайшие Цензурные Комитеты.

2, из книг, выписываемых из-за границы для продажи, выдавать книгопродавцам из Цензурных Комитетов, но без цензурного рассмотрения сочинения по части наук точных, реальных, медицинских, также грамматики, словари и энциклопедические и биографические лексиконы.

3, выдавать книгопродавцам в целости, т.е. без вырезок, сочинения всех классиков и произведения писателей прошлого столетия.

4, не исключать из ученых сочинений рассказов из русской истории.

и 5, отменить существовавшее до настоящего времени различие между запрещениями: **безусловным** и **запрещением для публики**, сохранив лишь сие последнее, и предоставить затем, сверх Министерства Народного Просвещения, также начальникам губерний право разрешать известным лицам получение запрещенных сочинений»<sup>52</sup>.

Казалось, что в России с начала 1860-х годов обозначился некоторый демократический подъем для прессы. 1 января 1863 г. в Москве под редакторством М.Н.Каткова вышел первый номер «Московских ведомостей». Но уже 10 января министр Головин на заседании Совета Министров высказал мысль о необходимости передачи Управления по

делам книгопечатания Министерству внутренних дел, т.е. осуществить то, чего уже хотел министр Валуев. В числе других передовых людей в обеих столицах эту же опасность быстро разглядел и Тютчев. В этот переходный период Головнин представил нескольких высших чиновников из Управления цензуры к наградам. В их числе был представлен к ордену Св. Анны 1-й степени и Тютчев. После произошедшего переподчинения между Тютчевым и Валуевым начались служебные разногласия, вызванные расхождением взглядов на цензуру. Поэта спасало его двойное подчинение: с одной стороны — министру внутренних дел, а с другой — министру иностранных дел, с которым у него к тому времени утвердились доверительные, почти дружеские отношения.

Время 60-х годов XIX в. стало пиком активной цензурной и политической деятельности Тютчева. Для многих высокопоставленных чиновников в Петербурге и Москве он являлся авторитетом в международной политике и в делах российской печати. А.В.Никитенко зафиксировал конкретные суждения поэта по поводу политики первых государств Европы. А мнение Тютчева было весомым. Зная авторитет Тютчева в придворных кругах, министр Валуев опасался, во всяком случае в первые годы руководства министерством, «прижимать» поэта в его действиях как председателя Комитета цензуры иностранной.

В это время появляется и целый ряд стихотворений Тютчева, написанных по поводу происходивших в России и в Европе политических событий. В начале августа 1863 г. как раздумье о совместном дипломатическом выступлении Англии, Франции и Австрии в аксаковском «Дне» было напечатано стихотворение «Ужасный сон отяготел над нами...», затем «Его светлости князю А.А.Суворову», которое датируется 12 ноября 1863 г. и обращено к военному генерал-губернатору Петербурга, князю А.А.Суворову, внуку знаменитого полководца, отказавшемуся подписать приветственный адрес генерал-губернатору Северо-Западного края М.Н.Муравьеву, которого дворянская общественность приветствовала за наведение российских порядков в Польше. Эти стихотворения, широко читавшиеся и обсуждавшиеся в общественных кругах, добавили популярности Тютчеву. Впрочем, популярность бывала иногда и иного рода.

В «Листке, издаваемом кн. Петром Долгоруковым» в Лондоне (литература, издаваемая русскими за границей, о вредности которой не раз упоминал и сам поэт), появилась небольшая заметка от 1 января 1864 г. самого П.В.Долгорукова, критикующая Тютчева за стихотворение, на-

правленное в адрес А.А.Суворова: «Кто в Петербурге не знает этого приятного собеседника, этого добродушного остряка; кто не видел его <...> с вечным выражением скуки на лице; с длинными седыми волосами, которые истинное подобие его слабого характера, развеваются в сторону, куда ветер дует <...>: кто в Петербурге не видел Федора Ивановича? Но тем, которые хорошо знают того добрейшего и честного человека, тем хорошо известна чрезмерная слабость его характера. Есть люди, которые устоят против искушений денежных, люди неподкупные, но которыми можно завладеть вежливостью, ласками, лестью и, в особенности, ежедневным собеседничеством. Федор Иванович принадлежит к числу этих людей, не способных ни на какую борьбу, людей, которых купить нельзя, а приобрести можно. <...> Чтение последнего стихотворения Федора Ивановича доказывает, до какой степени влияние окружающей среды может ослепить ум и помутить рассудок стихотворца»<sup>53</sup>.

Новое назначение Тютчева, хотя и по общественной линии, вероятно, не стало для поэта неожиданным. 21 марта 1864 г. Никитенко записывает в дневнике: «Был у меня Ф.И.Тютчев. Его назначили членом совета по делам печати и он хотел со мною посоветоваться насчет тамошних дел. Он, между прочим, сказал мне, что <кн. А.М.> Горчаков сильно советовал государю не делать праздника по поводу взятия Парижа 19-го марта. Тютчев опять думает, что война неизбежна»<sup>54</sup>.

Весна и начало лета 1864 г. прошли у поэта в обычных встречах с «нужными» людьми, затем Федор Иванович проводил жену и дочь за границу, а потом по причине болезни и смерти Елены Александровны Денисьевой он почти на год отстранился от активной служебной деятельности и общественной жизни.

Только 26 марта / 7 апреля 1865 г., после более чем полугодового пребывания за границей Тютчев с женой вернулся в Петербург. Запись в дневнике Никитенко свидетельствует, что уже через несколько дней поэт активно включился в общественную и политическую жизнь обеих столиц: «“Московские ведомости” свирепо ссорятся с “Днем”. Одни стоят за дворянство, другой за земство. Тютчев очень недоволен “Московскими ведомостями”. Я ему заметил, что, мне кажется, тут виноват не столько Катков, сколько <П.М.> Леонтьев. Вообще утешительного мало, особенно о польских делах. Толкуют о примирении. Тютчев полагает, что подобные толки в настоящую минуту или тупоумие, или измена»<sup>55</sup>.

Возвращение поэта в Россию практически совпало с высочайшим указом от 6 апреля 1865 г. Правительствующему Сенату, при котором

было «приложено высочайше утвержденное того же числа мнение Государственного Совета о переменах и дополнениях в ныне действующих цензурных постановлениях». Этим указом предоставлялось право повременным изданиям выходить без предварительной цензуры, но вместе с тем вводилась система так называемых «предостережений», система, заимствованная из практики тогдашнего французского закона, введенного министром Персиньи. И.С.Аксаков подверг подробному анализу и критике правительственную реформу и опубликовал этот разбор 24 апреля 1865 г. в своем «Дне»<sup>56</sup>.

Со своей стороны и Тютчев начал активную борьбу против нового устава о печати, который вступил в действие 1 сентября 1865 г. Став членом Совета Главного управления по делам печати, он сумел частично расположить его в пользу разумного, добросовестного образа действий. В этой борьбе Федор Иванович старался привлечь на свою сторону М.Н.Каткова, как наиболее влиятельного редактора известной газеты. В письме от 13 октября 1865 г. поэт разъяснял ему свою точку зрения на новый устав и просил поддержать Совет по печати: «Вы знаете, я вовсе не сторонник нашего нового устава о печати. Все эти заимствования иностр<анных> учреждений, все эти законодательные французские водевили, переложенные на русские нравы, мне в душе противны — все это часто выходит неловко и даже уродливо. Но в деле законодательства дух может одолеть и преобразить букву. Так и в предстоящем случае. <...> Заняв у современной, наполеоновской Франции главные основы нашего устава о печати, нам предстоит для его применения две дороги — два совершенно противоположных образа действий — или применять его в смысле французской же практики — в смысле полицейско-враждебном к свободе мысли и слова, или в том направлении, какое было высказано при составлении устава большинством Комиссии, — т.е. смотреть на нынешний устав как на нечто переходное — временное, имеющее свою настоящую целью вести русскую печать от ее прежней бесправности — к полноправию закона, со всеми его необходимыми гарантиями — и с этой-то точки зрения и отправления относиться к той огромной силе произвола, которая нами усвоена правом предостережения»<sup>57</sup>.

Инициаторами предполагавшейся декларации Совета по делам печати, «дабы отклонить всякую солидарность русской системы с французской», были Тютчев и уже упоминавшийся нами председатель Комиссии для пересмотра постановлений по делам печати кн. Д.А.Оболенский.

К сожалению, эта декларация-протест по неизвестным причинам в печати так и не появилась.

Абсолютное совпадение взглядов на печать и цензуру быстро возникло между Тютчевым и Аксаковым. Причем, как правило, в роли старшего, более сведущего, выступал Федор Иванович. Ему чаще всего принадлежал и почин в переписке, тем более что после 12 января 1866 г. писал он уже не только Ивану Сергеевичу, но и дочери Анне, ставшей женой Аксакова. Главным предметом обсуждения были, в основном, статьи, помещаемые Аксаковым в его изданиях: «День», «Москва», «Москвич» и т. д.

Но Тютчев не только высказывался в письмах, он пытался решать вопросы цензуры в самых верхах министерств. 19 декабря 1865 г. Никитенко записывает в дневнике: «Тютчев, Ф.И., рассказывал мне о своем разговоре с Валуевым о делах печати. Он откровенно объяснял министру, что репрессивная система, принятая им, ни к чему хорошему не приведет. Тютчев с негодованием рассказывал мне также о совете, от участия в делах которого он решительно отказался. То же подтверждает и Гончаров»<sup>58</sup>.

Об одном из таких инцидентов, в котором участвовал и известный писатель, цензор Петербургского цензурного комитета, вспоминает известный мемуарист князь В.П.Мещерский: «Валуев собирает экстренное заседание совета по делам печати и, к общему членов удивлению, является сам на нем председательствовать. <...> Все члены смолчали... Все, да, за исключением одного. Этот один был председатель комитета иностранной цензуры Ф.И.Тютчев, который объявил в совете, что он ни с требованием министра, ни с решением совета согласиться не может, затем встал и вышел из заседания, потряхивая своею беловолосою головою и, вернувшись домой, написал и послал Валуеву свою отставку.

Заседавший тут же писатель, И.А.Гончаров, встал и, подойдя к Тютчеву, пожал ему с волнением руку и сказал: Федор Иванович, преклоняюсь перед вашей благородною решимостью и вполне вам сочувствую, но для меня служба — насущный хлеб старика»<sup>59</sup>.

Более точно этот случай описан в письме Евгения Михайловича Феоктистова, чиновника особых поручений при министре народного просвещения, к М.Н.Каткову от 8 мая 1866 г.:

«Еще вчера узнал я (весть об этом пронеслась по всему городу), что “Москов<ским> ведомостям” дано второе предостережение. Теперь я убедился из “Северной почты”, что слух этот справедлив. Вы видели, что



дано предостережение “Голосу”; кроме того, “Петербургские ведомости” отданы под суд за статью “Наше оправдание” в одном из номеров на прошлой неделе, и Валуев настаивает на том, чтобы прекратить существование этой газеты. Все эти решения были приняты вчера, в субботу, — в этом же заседании составлен текст третьего предостережения “Московским ведомостям”, которое отправлено на рассмотрение к министру.

Все это я узнал вчера от Ф.И.Тютчева. Бедный старик пришел ко мне до такой степени встревоженный, что не мог удержать своих слез. Он сделал все, что можно было требовать от честного человека, а именно — покинул свое место в Главном цензурном управлении, о чем уже и заявил Валуеву<sup>60</sup>. И только когда последовало распоряжение министра внутренних дел Валуева о возобновлении «Московских ведомостей» и 2 июня в этой газете было опубликовано заявление Каткова о возвращении его редактором, Тютчев вернулся в Совет по делам печати.

12 июля 1866 г. он с удовлетворением писал жене: «Прошлый четверг я снова занял свое место в Совете по делам печати, а накануне, в день Св. Петра, я даже оставил визитную карточку Валуеву. Ты видишь, что я не злоупотребляю победой, а она была полная. Я узнал как нельзя более удовлетворительные подробности свидания Каткова с государем»<sup>61</sup>.

Эти события происходили, когда министром народного просвещения был уже граф Дмитрий Андреевич Толстой. Товарищем министра народного просвещения был назначен давний добрый знакомый семьи Тютчевых И.Д.Делянов. Толстой фактически никакого влияния на цензурные вопросы уже не оказывал. Зато его нововведения по поводу возложения на него обязанностей «наблюдать за чистотою нравов юношества и преграждать в школы путь дурным идеям...», касающиеся школьной литературы, встретили отпор и у Тютчева. 23 октября 1866 г. цензор А.В.Никитенко записывает в дневнике, что Тютчев на заседании совета «справедливо заметил, что литература существует не для гимназистов и школьников и что нельзя же ей давать детское направление. Тогда пришлось бы ограничиться одними букварями и учебниками. В обществе и, кроме литературы, говорится и делается много такого, что непригодно для школы и школьников»<sup>62</sup>.

Во второй половине 60-х годов Тютчев уже окончательно выбрал свою стезю в политике и в цензурных делах, которая все больше занимала его помимо основной службы в Комитете цензуры иностранной. В вопросах, касающихся внешней и внутренней России, он стал как бы од-

ним из главных негласных советников у Горчакова, а в вопросах цензуры нашел себе верного соратника в лице И.С.Аксакова. Свидетельств тому по разным каналам поступало немало. Например, из частых писем из Петербурга давнего соратника Каткова Б.М.Маркевича своему патрону:

«Вы читали, вероятно, в органе Бисмарка заявление о самых лучших отношениях Пруссии к России. В подтверждение действительности этого могу вам сообщить, что кн. Горчаков показывает старцу Тютчеву письмо свое к Бисмарку, апробированное государем, по случаю болезни последнего, т.е. Бисмарка, в котором между прочим сказано, что пока он, кн. Горчаков, стоит во главе иностранных сношений в России, дружные и вполне откровенные отношения России к Пруссии никогда не изменятся»<sup>63</sup>.

Между тем произошла очередная смена в руководстве Главного управления по делам печати. Начальником в конце 1866 г. был назначен бывший цензор Московского цензурного комитета в 1852—1858 гг. Михаил Николаевич Похвиснев. По этому поводу Тютчев, поздравлявший Аксакова с выходом 1 января 1867 г. его газеты «Москва», предсказывал редактору радужные перспективы: «Созвездия довольно благоприятны — новый председатель Совета Главного Управления Похвиснев оказывается человеком рассудительным и самостоятельным. С этим можно будет жить»<sup>64</sup>.

Но уже вскоре все стало складываться не так, как хотелось на первых порах Тютчеву. Аксаков своими передовыми статьями в «Москве» по славянским вопросам, вопросам земства нервировал правительство, будоражил общественность, чем вызывал на себя и газету кары от цензуры. К тому же, славянофильская историко-философская доктрина Аксакова не всегда совпадала даже с историко-философскими воззрениями Тютчева, тем не менее всегда старавшегося отвести удар от зятя. И все же, получив очередное предупреждение, 26 марта 1867 г. «Москва» была приостановлена цензурой на три месяца.

18 апреля в письме Федор Иванович успокаивал дочь Анну и Аксакова: «Сочувствие к “Москве” несомненное и общее. Все говорят с любовью и беспокойством: не умерла, а спит, и все ждут нетерпеливо ее пробуждения... Но вот в чем горе: пробудится она при тех же жизненных условиях и в той же органической среде, как и прежде, а в такой среде и при таких условиях газета, как ваша “Москва” жить нормальною жизнью не может, не столько вследствие ее направления, хотя чрезвычайно ненавистного для многих влиятельных, сколько за ее неумолимую честность

слова. Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по делу печати, а не тот лицемерно-насильственный произвол, который теперь заведывает у нас этим делом, — и потому неизменившейся “Москве” долго еще суждено будет, вместо спокойного плавания, биться, как рыба об лед»<sup>65</sup>. В своих действиях на благо общества, родины Аксаков и Тютчев были порой несхожи. Аксаков, имея свою газету, открыто, гласно выступал против законов и действий правительства. Тютчев же, будучи высокопоставленным чиновником, не всегда имел возможность напрямую высказать свои взгляды (вспомним его строки: «Молчи, скрывайся и таи // И чувства, и мечты свои...»). Особенно это понимали его близкие. В письме брату Карлу Пфедфелю, всю жизнь прожившему в Европе и знавшему Россию лишь по письмам родственников, Эрнестина Федоровна Тютчева так, например, объясняла, почему ее муж, невзирая на дружеские отношения с Горчаковым, не попросит у него высокооплачиваемой должности за границей: «В глазах высокопоставленных и влиятельных друзей моего мужа одним из привлекательнейших его качеств всегда являлось то, что он их ни о чем не просил, и если бы сейчас он случайно изменил этому принципу, который есть не что иное, как прирожденная черта его характера, он ничего не выиграл бы в материальном отношении по сравнению с любым другим, но зато с точки зрения житейской для него значительно поубавилось бы приятности, которой он наслаждается в своей независимости. К тому же мой муж не может более жить вне России: главное устремление его ума и главная страсть его души — повседневное наблюдение над развитием умственной деятельности, которая разворачивается на его родине. В самом деле, деятельность эта такова, что может всецело завладеть вниманием пылкого патриота»<sup>66</sup>.

Патриотичность Тютчева особенно ярко проявилась во время проходящего в мае 1867 г. Славянского съезда и дворянских торжеств по этому случаю в Москве и Петербурге. Поэт написал прекрасные стихи, обращенные к славянам — «Привет вам задушевный, братья...», которые «были читаны под гром аплодисментов» в Петербургском дворянском собрании на банкете.

Тютчева теперь уже с почтением узнавали во всех присутственных местах обеих столиц. Сотрудник Комитета цензуры иностранной с конца 1872 г., мемуарист А.Е.Егоров вспоминал, что видел поэта еще «в Москве во время одного из приездов его туда и посещений им <...> отделения иностранной цензуры. Он прибыл к нам в отделение зимой в ши-

роко распахнутой енотовой шубе – всегдашняя манера его носить ее – и меховой шапке, из-под которой выбивались его длинные седые волосы, и с небрежно обмотанным вокруг шеи шерстяным шарфом. Выразительное лицо его с тонкими чертами и большим лбом, в очках, из-под которых выглядывали умные, но как бы утопленные глаза, которые невольно обращали на себя внимание и заставляли догадываться, что в старческом облике всей фигуры этого человека скрывается незаурядная натура»<sup>67</sup>.

С конца 1867 г. Тютчев испытывает все больше нравственных мук по поводу бесполезности не только его личной, но и общей борьбы печати с «безапелляционной диктатурой мнения чисто личного» министра внутренних дел Валуева, которому поэт подчинялся как председатель Комитета цензуры иностранной. Это мнение, как считал Тютчев, «постоянно находится в явном противоречии со всеми чувствами и со всеми убеждениями страны, но, более того – прямо противоречит мнениям самого правительства по всем существующим вопросам дня». По Петербургу даже пошли слухи о предстоящих изменениях в законодательстве о печати, но чтобы развеять эти слухи, Валуев распорядился напечатать 21 декабря 1867 г. в «Северной почте» статью, в которой продолжалось доказательство целесообразности системы предостережений, установленной законом о печати от 6 апреля 1865 г.

«Есть привычки ума, под влиянием коих печать сама по себе уж является злом, – писал поэт Анне, – и с каким бы рвением и убеждением ни служила она Власти, как это делается у нас, в глазах этой Власти всегда будет существовать нечто лучшее, чем все услуги, какие печать может ей оказать, – это чтобы сама печать не существовала. Содрагаешься при мысли о жестоких испытаниях, через которые должна пройти бедная наша Россия, как извне, так и изнутри, прежде чем ей удастся справиться с такой прискорбной точкой зрения»<sup>68</sup>.

Поэта тяготило постоянное раздвоение его как чиновника и гражданина. С одной стороны, он занимал высокий пост председателя Комитета и обязан был соблюдать интересы цензуры в России, которую, к его сожалению, возглавлял такой чиновник, как Валуев. А с другой стороны, поэт понимал всю вредность тех реформ, нововведений, которые проводил министр внутренних дел. Кроме того, Федор Иванович понимал всю полезность роли газеты «Москва» (а потом «Москвич») в формировании прогрессивного общественного мнения. Но главным редактором газеты был его зять И.С.Аксаков, и этим пользовались его недоброжелатели, попрекая покровительством родственнику.

Служба в цензуре и активная политическая деятельность, к счастью, не отодвинули на задний план творческую жизнь поэта. В конце лета 1867 г. его дети, главным образом младший сын Иван, при содействии И.С.Аксакова начали подготовку к изданию второго сборника стихотворений Федора Ивановича. По этому случаю велась активная переписка между его ближайшими родственниками – дети при каждом удобном случае записывали каждый в свой альбом стихи папа, многие из которых помнили наизусть.

«Любезнейший Ванюша, – писала брату Ивану Тютчеву Мария Федоровна Бирилева, – вот стихи папа. Я переписала все, что у меня есть и что не вошло в состав первого издания его стихотворений, самым добросовестным образом, но с своей тетрадью разлучиться не хотела. Полагаю, что большую часть этих стихов ты собрал в Москве, а что другие по причине их колкости папа не допустит до печати, но я непременно хотела сообщить с своей стороны все, что имею. Переписка же доставила мне приятное занятие. Я так люблю стихи папа, что они не могут меня утомить, я их чувствую, как иные, не бывши музыкантами, чувствуют музыку; поэтому известие о новом издании меня очень обрадовало и воспламенило»<sup>69</sup>.

Стремясь теперь попасть в гости к известному поэту и его многочисленным почитателям, друзья, сослуживцы. «Намедни мы с Димой (сыном. – Г.Ч., Л.П.) устроили вечер. Это был политико-литературный вечер, – писал Тютчев жене в Овстуг. – Давно уже я обещал его устроить господам из Управления по делам печати и комитетов. Чай, мороженое и пунш служили угощением на этом празднестве, которое из моей спальни перенеслось в большую гостиную. Разошлись в час ночи»<sup>70</sup>.

Есть причины думать, что в конце 60-х годов к поэту стала незаметно подкрадываться старость. И не поймешь, что его тогда больше привлекало? Служба начинала надоедать, жена летом и осенью жила в имении на Брянщине, друзья, Вяземский, Горчаков, также катастрофически старели. Что ему оставалось? Память об ушедших, Леле Денисьевой? 14 октября на заседании Совета Главного управления по делам печати он «был весьма рассеян и что-то рисовал или писал карандашом на листе бумаги, лежавшем перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумье, оставив бумагу»<sup>71</sup>. Листок этот «на память о любимом им поэте» подобрал писатель, редактор «Правительственного вестника» граф П.И.Капнист. На листке был записан изумительный экспромт:

*Как ни тяжел последний час –  
Та непонятная для нас  
Истома смертного страданья, –  
Но для души еще страшней  
Следить, как вымирают в ней  
Все лучшие воспоминанья...<sup>72</sup>*

В марте 1868 г. вышел из печати второй сборник «Стихотворения Ф.Тютчева». Этот же март ознаменовался и «тихой» отставкой министра внутренних дел П.А.Валуева, состоявшейся якобы в связи с его пошатнувшимся здоровьем. Но главной причиной был разразившийся в России голод, против которого министр не принял никаких мер. Вместо него с поста министра почт и телеграфов был назначен генерал-адъютант Александр Егорович Тимашев. Трудно сказать, как поначалу к этому отнесся Тютчев, весь конец марта бывший в досаде на «список безобразный» своих стихотворений в новом сборнике. Но зато все остальные – родственники и друзья – остались довольными: пятьдесят «подносных» экземпляров, напечатанных на веленовой бумаге, с портретом автора, быстро разошлись.

Событием стал день памяти славянских просветителей Кирилла и Мефодия. В этот день, 11 мая, в Казанском соборе состоялся торжественный молебен. «Из собора, – как было написано в «Голосе» на следующий день, – довольно многочисленное общество отправилось на скромный завтрак, приготовленный в гостинице Алексева (на Итальянской улице против Пассажа) <...> председателем завтрака был избран известный наш поэт Ф.И.Тютчев, и по его приглашению все заняли места. Начались здравицы и речи. <...> Вообще весь завтрак был необыкновенно весел и оживлен»<sup>73</sup>.

Конец 60-х годов для поэта прошел на большом подъеме. Теперь-то ему мало что могло грозить по службе. Этому немало способствовали успехи Горчакова в большой политике, спокойное царствование Александра II, с семьей которого дочери Тютчева поддерживали почти дружеские отношения, смена «крутого» Валуева, с которым к тому времени у Федора Ивановича были окончательно испорчены отношения. Тютчев в это время много ездил по стране, бывал за рубежом, отчего создавалось мнение, что его Комитет работает как бы сам по себе, а председатель сам по себе. Такое было возможно исключительно благодаря высококвалифицированному штату сотрудников Комитета.

Вот что писал об этом московский цензор А.Е.Егоров: «Центральный комитет иностранной цензуры находился тогда в доме Шольца на Обуховском проспекте, вблизи Сенной. <...> Комитет был разделен на три отделения, которыми заведовали старшие цензора. Я попал в немецко-итальянское отделение, начальником которого был престарелый Есипов. Остальными двумя отделениями заведовали: французским и английским – Любовников, а бандерольным и польским с прочими славянскими наречиями – А.Майков. Кроме названных старших цензоров, были еще и младшие, между которыми разделялось чтение книг сообразно их знанию языков. Так, Полонский читал французские, английские и итальянские книги, Миллер–Красовский<sup>74</sup>, прославившийся своей брошюрой о необходимости розги в школьном воспитании, исключительно немецкие, Дукшита-Дукшинский – польские, и был еще один такой цензор-полиглот, Шульц, который не затруднялся читать книги и разные другие издания на всех существующих языках. Секрет своего «многоязычия» и скоропалительного чтения он унес в могилу; как он успевал и умудрялся возвращать по субботам весь громадный ворох забранных им для прочтения книг за неделю, представляя о каждой отзыв, осталось непроницаемой для нас тайной. Это был поистине титан своего дела, и подобного ему языковеда мне уже не приходилось встречать во всю мою жизнь, хотя некоторые наши цензора, как, например, мой предместник, старший помощник цензора, магистрант филологии Певницкий, назначенный в Одессу младшим цензором, обладал значительными познаниями в иностранных языках, да и я сам владею пятью языками, но по многоязычию своему почтенный Шульц побил рекорд над всеми, и никто никогда не мог конкурировать с ним в этой сфере.

Что касается канцелярии комитета, то долгое время заведовал ею Златковский<sup>75</sup>, бывший офицер в отставке, получивший в Крымскую кампанию контузию в затылок, вследствие чего, помимо воли своей, физически не мог «гнуть шеи». Он пользовался казенной квартирой при комитете в том же старинном и доселе существующем доме на Обуховском проспекте, близ Сенной, Шольца, куда к нам поднимали тюки с книгами на блоке, устроенном в окне со двора»<sup>76</sup>.

Из этого рассказа хорошо видно, какие профессионалы служили в Комитете цензуры иностранной. Думается, что это были большие энтузиасты своего дела, во многом бескорыстные, ибо плата за их труд была не столь велика. Служили в Комитете иногда по несколько десятков лет. Например, Алексей Степанович Любовников служил с 1853 г. Он был

энергичен, трудолюбив, обладал обширными знаниями в исторических и филологических науках, знал почти все романские языки и несколько восточных. Накануне прихода в Комитет Тютчева Любовников был назначен секретарем, а с 1863 г. – заведующим отделом, на правах старшего цензора английского отделения Комитета. Сотрудничал Любовников и с газетой «Голос», делал прекрасные переводы европейских классиков<sup>77</sup>.

Еще при назначении Тютчева председателем Комитета цензуры иностранной на этот же пост котировался и граф Егор Евграфович Комаровский, сын генерал-адъютанта графа Е.Ф.Комаровского, известного мемуариста. Егор Евграфович после женитьбы на Софье Владимировне Веневитиновой, сестре Д.В. Веневитинова и четвероюродной сестре А.С.Пушкина, оказался в самой гуще литературных дел обеих столиц 1830–1840-х годов, а потом уже стал цензором Петербургского Комитета цензуры иностранной. Комаровский был способным, усердным чиновником, не строил козни начальству, отчего Тютчев охотно оставлял его за себя во время частых отлучек, отъездов за границу. Вероятно, и ежегодные отчеты Комитета составлялись при активном участии Комаровского и даже иногда подписывались им.

Поэт Яков Петрович Полонский, живший с начала 1850-х годов в Петербурге случайными литературными заработками, после редактирования журнала «Русское слово» в 1858–1859 гг. не без участия Тютчева поступил в Комитет цензуры младшим цензором, а с 1863 г. стал там секретарем. О его дружеских отношениях с Тютчевым и его семейством известно многое, поэтому служба Полонского протекала легко и не мешала ему сочинять стихи, издавать собственные сочинения.

То же примерно можно сказать и о поэте Аполлоне Николаевиче Майкове, который после службы библиотекарем в Румянцевском музее в 1852 г. перешел в Комитет цензуры иностранной, в котором прослужил около сорока пяти лет. После смерти Тютчева Аполлон Николаевич продолжал поддерживать дружеские отношения с семьей своего старшего товарища и в 1886 г. вместе с Эрнестиной Федоровной Тютчевой издал первое полное на тот период собрание сочинений Ф.И.Тютчева. Председателем Комитета после Тютчева стал сын П.А.Вяземского князь П.П.Вяземский, а потом несколько лет Комитет цензуры иностранной возглавлял А.Н.Майков «благодаря личному расположению к нему Александра III».

К сожалению, смена Валуева Тимашевым не принесла облегчения российской печати. Уже осенью 1868 г. Тютчев предвидел новый



кризис печати: «Не думаю, не надеюсь, чтобы власть имеющие согласились добровольно предоставить печати ту долю простора, какую она себе отмежевала», – писал Федор Иванович Аксакову 22 сентября<sup>78</sup>. И действительно, через полгода, 15 апреля 1869 г. министр внутренних дел А.Е.Тимашев представил в Государственный совет проект дополнений и изменений закона 6 апреля 1865 г., чтобы еще более ограничить свободу печати<sup>79</sup>.

Осенью следующего года осуществилась новая смена руководства у Тютчева – 24 сентября 1870 г. начальником Главного управления по делам печати вместо Похвиснева был назначен бывший гражданский тульский губернатор генерал Михаил Романович Шидловский. И опять дочери Анне он поначалу даже хвалил Шидловского: «Я, думается, писал тебе в моих предыдущих письмах о новом председателе Совета Главного управления по делам печати? Так вот, оказывается, он совсем не таков, как о нем говорили, он даже очень расположен к русской печати. Это навело меня на мысль, что, быть может, он скорее будет склонен способствовать восстановлению «Москвы», нежели препятствовать ему. Следует только заручиться дружественным влиянием в самых высоких сферах и действовать в одном направлении»<sup>80</sup>. Но, к сожалению, и надежды на Шидловского не оправдались. «Москва», закрытая постановлением Правительствующего Сената в 1868 г., так и не была восстановлена.

Примерно с 1870 г. у поэта все делается и происходит как в последний раз. С начала января у него начинаются сильные головокружения, часто подводят ноги, ухудшается общее состояние здоровья. В февральском письме к дочери Анне Федор Иванович огорчается смерти родственника Мальтица, но говорит, что несколько лет тому назад он был бы более этим поражен. Теперь близость собственной смерти побуждает его спокойнее относиться к утратам.

В конце июня того же года Федор Иванович, следуя настояниям родственников, отправляется на лечение за границу. В июле его настигает весть о кончине старшего сына Дмитрия, последовавшей 11 июля. А проездом через Варшаву он узнает, что 15 июля 1870 г. французский сенат и законодательный корпус вынесли решение о войне с Пруссией. Кажется, эта новость поразила его более, чем смерть сына. «По приезде моем сюда я узнал, – пишет он жене, – что война объявлена. Это все равно, что начало конца света. Воздерживаюсь от размышлений, ибо ум человеческий приведен в замешательство и оцепенение ввиду

подобных возможностей... Я едва могу писать, до того я чувствую себя нервным»<sup>81</sup>.

Надо было знать неумную к политической, общественной деятельности натуру поэта, даже в те времена, когда, казалось бы, физические, да и душевные силы его были близки к полному истощению. Потеряв возможность постоянно консультировать Аксакова с его «Москвой» и «Москвичом», он теперь почти целиком переключил свое внимание на скоропалительно развивавшиеся европейские события, которые людям из близкого ему окружения казались не столь уже важными. В своих письмах дочери Анне, жене или ее брату Карлу Пфэффелю он теперь постоянно как бы накладывает картину воюющей Европы на положение своей родины, считая, что «всякая европейская потасовка <...> отвлекла бы внимание ведущих европейских стран от насущных вопросов Ближнего Востока, сделав их разрешенными в пользу России». Эти же мысли беспокоят поэта и по возвращении его в Петербург, и во время поездки в Овстуг.

И действительно, франко-прусская война дала возможность российскому канцлеру Горчакову издать 19/31 октября 1870 г. ноту об отказе соблюдать ограничения, положенные после Крымской войны русскому черноморскому флоту. В ответ Тютчев пишет князю Горчакову прекрасное патриотическое стихотворное послание:

*Да, вы сдержали ваше слово:  
Не двинув пушки, ни рубля,  
В свои права вступает снова  
Родная русская земля –*

*И нам завещанное море  
Опять свободно волной,  
О кратком позабыв позоре,  
Лобзает берег свой родной.* (II, 224)

Примерно в эти же месяцы поэт сочинил и другое стихотворение, как бы подводящее предварительный итог всей его деятельности на службе российской цензуры:

*Веленью высшему покорны,  
У мысли стоя на часах,*

*Не очень были мы задорны,  
Хотя и с штуцером в руках.*

*Мы им владели неохотно,  
Грозили редко и скорей  
Не арестантский, а почетный  
Держали караул при ней.*

(II, 222)

Это стихотворение было написано в альбом сослуживца по Комитету цензуры иностранной Платону Алексеевичу Вакару. Поэт никак не хочет приостановиться в своей деятельности цензора, политика, общественного деятеля, хотя его возраст приближается к семидесяти... «По своему неисправимому легкомыслию, – пишет он дочери Анне, – я по-прежнему не могу не интересоваться всем, что происходит в мире, словно мне не предстоит вскоре его покинуть»<sup>82</sup>. Его интересуется и проходивший в Мюнхене конгресс представителей католической оппозиции папе римскому, и запрет на распространение в России третьего издания работы Ю.Ф.Самарина «Окраины России», и даже такой сугубо личный вопрос, как судьба единственного из детей Денисьевой, оставшегося в живых, – сына Федора.

В то же время он переживает череду смертей близких ему людей. Вслед за сыном Дмитрием в Москве 8 декабря 1870 г. скончался брат Николай Иванович Тютчев. 7 июля следующего года умирает зять Николай Васильевич Сушков, 2 июня 1872 г. в Рейхенгалле, в Баварии, умерла от чахотки младшая дочь Мария Федоровна Бирилева.

Возвращаясь с похорон брата в Москве, он по дороге в Петербург пишет одно из самых трагических стихотворений – «Брат, столько лет сопутствовавший мне...», которое заключает такими строками:

*Дни сочтены – утрат не перечеть...  
Живая жизнь давно уж позади –  
Передового нет – и я, как есть,  
На роковой стою очереди...*

(II, 226)

1 января 1873 г. Тютчев, несмотря на предостережения врачей, вышел из дома на обычную прогулку. Но вскоре его привезли домой, разбитого параличом. Началась полугодовая борьба за жизнь. Казалось, уже многие органы его почти иссохшего организма отказались служить.

Но мысли продолжали наполнять его бедную голову. Ему еще удалось едва шевелящимися губами продиктовать несколько стихотворений, и среди них, пожалуй, самое главное, посвященное жене Эрнестине Федоровне:

*Все отнял у меня казнящий Бог:  
Здоровье, силу воли, воздух, сон,  
Одну тебя при мне оставил Он,  
Чтоб я Ему еще молиться мог.* (II, 251)

Поэт «почти с детской радостью встретил появление в Русской печати, именно в Р[усском] Архиве, своих двух статей, – которые были им самим так долго пренебрежены и забыты. Он заставил прочесть их себе и был ими доволен... Он постоянно пытался удостовериться в себе самом, в ясности своего сознания. <...> Ранним утром 15 июля 1873 г. лицо его внезапно приняло какое-то особенное выражение торжественности и ужаса; глаза широко раскрылись, как бы вперились в даль, – он не мог уже ни шевельнуться, ни вымолвить слова, – он, казалось, весь уже умер, но жизнь витала во взоре и на челе. Никогда так не светилось оно мыслью, как в этот миг, – рассказывали потом присутствовавшие при его кончине. Вся жизнь духа, казалось, сосредоточилась в одном этом мгновении, вспыхнула разом и озарила его последнею верховною мыслью... Чрез полчаса вдруг все померкло, и его не стало...

Он просиял и погас...»<sup>83</sup>.

### Примечания

1. Большая подборка биографического материала об этом периоде жизни поэта была у тщательно исследовавшего архивы его правнука К.В. Пигарева. Но, вероятно, он так и не решился в советское время написать большое исследование о царском высокопоставленном чиновнике, его службе и, тем более, о близости Тютчева ко двору и к власти предрержавшим. В монографии Пигарева Тютчеву-цензору посвящена всего лишь небольшая глава (с. 158—168). Эта глава также не является исчерпывающим исследованием вопроса, в ней представлены лишь основные свидетельства о Тютчеве-цензоре его современников (отрывки из научных трудов, воспоминаний, дневников, писем), работы исследователей более позднего времени и некоторые находки автора в архивах.
2. Некрасов Н.А. Собр. соч.: В 8 т. – М., 1967. – Т. 7. – С. 209.
3. Чулков Г.И. Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. – М.–Л., 1933. – С. 72.
4. Лемке М. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. – СПб., 1904. – С. 204.
5. Там же. – С. 185.
6. Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. – Л., 1969. – С. 325.
7. Там же. – С. 321.

8. Литературное наследство. – Т. 97. – Кн. 1–2. – М., 1988. – Кн. 2. – С. 326.
9. *Никитенко А.В.* Дневник // Русская старина. – 1890. – II. – С. 400.
10. Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. – СПб., 1862. – С. 261.
11. *Лемке М.* Цит. соч. – С. 238.
12. *Пигарев К.В.* Жизнь и творчество Тютчева. – М., 1962. – С. 159.
13. *Чулков Г.И.* Цит. соч. – С. 75–76; Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 233. Дата письма Эрн. Ф. Тютчевой К.Пфеффелю, указанная в «Летописи», на наш взгляд, точнее.
14. См.: *Лэйн Р.* Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х — начала 1850-х годов // Литературное наследство. – М., 1988. – Кн. 1. – С. 231—252.
15. *Усов П.С.* Из моих воспоминаний // Исторический вестник. – 1882. – Т. 7. – № 1. – С. 126.
16. *Лемке М.* Цит. соч. – С. 286.
17. Тютчев Ф.И. – Тютчевой Эрн. Ф. // *Тютчев Ф.И.* Соч.: В 2 т. – М., 1984. – Т. 2. – С. 217.
18. *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – М., 2002. – Т. 2. – С. 14, 346—347.
19. ГИАМ, ф. 459, оп. 2, д. 1841.
20. ГИАМ, ф. 17, оп. 27, ед. хр. 8.
21. Дневник В.С.Аксаковой. – СПб., 1913. – С. 102.
22. Тютчев Ф.И. – Тютчевой Эрн. Ф. // *Тютчев Ф.И.* Соч.: В 2 т. – М., 1984. – Т. 2. – С. 231.
23. Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 277—278.
24. *Лемке М.* Цит. соч. – С. 307.
25. Тютчев Ф.И. – Тютчевой Эрн. Ф. // Старина и новизна. – 1915. – Т. 19. – С. 250.
26. Тютчева Д.Ф. – Тютчевой Е.Ф. // Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 293.
27. Впервые «Письмо о цензуре в России»: Русский архив. – 1873. – № 4. – С. 607—632.
28. Тютчев Н.И. – Тютчевой Эрн. Ф. // Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 293.
29. *Чулков Г.И.* Цит. соч. – С. 119.
30. *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд. – Л., 1989. – С. 202.
31. *Чулков Г.И.* Цит. соч. – С. 120.
32. Сушкова Д.И. – Тютчевой Е.Ф. // Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 295.
33. Тютчев Ф.И. – Тютчевой Эрн. Ф. // *Тютчев Ф.И.* Соч.: В 2 т. – М., 1984. – Т. 2. – С. 254.
34. И.С.Аксаков в его письмах. – СПб., 1896. – Т. 4. – С. 18.
35. Русский архив. – 1899. – № 5. – С. 102.
36. Русская старина. – 1890. – Т. IX. – С. 610.
37. Там же. – С. 612.
38. Русский архив. – 1873. – № 4. – С. 624.
39. *Лемке М.* Цит. соч. – С. 329.
40. *Плетнев П.А.* Сочинения и переписка. – СПб., 1885. – Т. 3. – С. 467.
41. *Чулков Г.И.* Цит. соч. – С. 126.
42. Русский архив. – 1873. – № 4. – С. 623.
43. Подробнее см.: *Брисман М.А.* Ф.И.Тютчев в Комитете цензуры иностранной // Литературное наследство. – М., 1935. – Т. 19—21. – С. 565—578.
44. *Брисман М.А.* Цит. соч. – С. 568.
45. Русский архив. – 1873. – № 4. – С. 629—630. Но, несмотря на подобный запрет, в семье Тютчевых (да и при дворе) подобные сочинения регулярно читали. См., напр., письмо Е.Ф.Тютчевой к Д.Ф.Тютчевой от 20 декабря 1858 г. // Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 298.

46. *Брискман М.А.* Цит. соч. – С. 568—569.
47. *Чулков Г.И.* Цит. соч. – С. 128, 133.
48. Тютчева Эрн. Ф. – Тютчевой Д.Ф. // Литературное наследство. – Кн. 2. – М., 1989. – С. 310. Награждение орденом состоялось 1/13 января 1860 г. (*Чулков Г.И.* Цит. соч. – С. 134).
49. *Брискман М.А.* Цит. соч. – С. 569—571.
50. *Эльзон М.Д.* Ф.И.Тютчев в Комитете Цензуры Иностранной: новые материалы // Русская литература. – 1997. – №1. – С. 239—243.
51. *Никитенко А.В.* Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник (1804–1887). Т. 1—2. – СПб., 1905. – Т. 1. – С. 579.
52. Записка, поданная министру народного просвещения А.В.Головкину. Без подписи. Писарской рукой. [1862 г.] // ОР РНБ. Ф. 833 (В.А.Цез), М. 31. 6 л.
53. Литературное наследство. – М., 1990. – Кн. 2. – С. 346.
54. *Никитенко А.В.* Цит. соч. – Т. 2. – С. 172.
55. Там же. – С. 227.
56. См.: *Чулков Г.И.* Тютчев и Аксаков в борьбе с цензурой / Мурановский сборник. – Мураново, 1928. – Вып. 1. – С. 9. Об этом же см.: *Цимбаев Н.И.* И.С.Аксаков в общественной жизни пореформенной России. – М., 1978. – С. 68—126.
57. Литературное наследство. – М., 1988. – Кн. 1. – С. 418.
58. *Никитенко А.В.* Цит. соч. – Т. 2. – С. 266.
59. *Мещерский В.П.* Мои воспоминания. – СПб., – 1898. – Ч. 2. – С. 49.
60. Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 381.
61. Там же. – С. 383.
62. *Никитенко А.В.* Цит. соч. – Т. 2. – С. 308.
63. Маркевич Б.М. – Каткову М.Н. // Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 385.
64. Тютчев Ф.И. – Аксакову И.С. // Литературное наследство. – М., 1988. – Кн. 1. – С. 281.
65. Литературное наследство. – М., 1988. – Кн. 1. – С. 292—293.
66. Тютчева Эрн. Ф. – Пфеффелю К. // Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 387.
67. *Егоров (Конспаров) А.Е.* Страницы из прожитого. – Одесса, 1913. – Т. 1. – С. 144.
68. Тютчев Ф.И. – Аксаковой А.Ф. // Литературное наследство. – М., 1988. – Кн. 1. – С. 316–317.
69. Бирилева М.Ф. – Тютчеву И.Ф. // Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 380.
70. *Тютчев Ф.И.* Соч.: В 2 т. – М., 1984. – Т. 2. – С. 312.
71. Сочинения графа П.И.Капниста. В 2-х т. – М., 1901. – Т. 1. – С. СХХХІІІ.
72. *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – М., 2002. – Т. 2. – С. 184. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
73. Литературное наследство. – М., 1989. – Кн. 2. – С. 396.
74. Возможно, речь идет о Ф.Б.Миллере, переводчике и поэте.
75. Позже М.Л.Златковский станет биографом А.Н.Майкова, напишет о нем биографический очерк (СПб., 1898. 2-е изд.).
76. Исторический вестник. – 1912. – Т. 127. – № 1. – С. 60–61.
77. Подробнее: Русский биографический словарь. – СПб., 1914. – С. 808–809.
78. Литературное наследство. – М., 1988. – Кн. 1. – С. 341.
79. Материалы для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати. – СПб., 1870. – Ч. 1. – С. 648–705.
80. Петербург. 19 октября 1870 г. // Литературное наследство. – М., 1988. – Кн. 1. – С. 363.
81. *Лигарев К.В.* Ф.И.Тютчев о французских политических событиях 1870–1873 гг. // Литературное наследство. – М., 1937. – Т. 31–32. – С. 753.

82. Тютчев Ф.И. – Аксаковой А.Ф. // Литературное наследство. – М., 1988. – Кн. 1. – С. 374.  
83. Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. – М., 1886. – С. 314, 316.

В.П.Зверев

### О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ Ф.И.ТЮТЧЕВА И Ф.Н.ГЛИНКИ

Историю знакомства, хотя и заочного, двух именитых русских поэтов можно начинать с 20 марта 1822 г., когда в Петербурге на заседании Вольного общества любителей российской словесности под председательством Ф.Н.Глинки большинством голосов был избран к напечатанию в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» перевод элегии А.Ламартина «L'Isolément», выполненный тогда еще никому не известным, начинающим литератором 18-летним Федором Тютчевым и представленный под названием «Одиночество». Это была вторая редакция перевода, первая же под заглавием «Уединение» была прочитана двумя днями раньше, 18 марта, в Москве на заседании Общества любителей российской словесности при Императорском университете и была представлена как «стихотворение сотрудника Ф.И.Тютчева».

Эти факты говорят о том, что молодой поэт придавал серьезное значение признанию своего творчества известными литературными обществами обеих столиц и Ф.Н.Глинка как председатель одного из них был тогда для него безусловным авторитетом в области отечественной словесности, духовно-эстетические опыты которого, безусловно, оказывали определенное влияние на формирование развивающегося таланта. В XX в. американский исследователь Р.Густафсон обратил внимание на сходство стихотворений «Сон» («Я кем-то был взнесен на острый верх скалы...») Ф.Н.Глинки и «Сон на море» («И море и буря качали наш челн...») Ф.И.Тютчева<sup>1</sup>. Даже по объему эти произведения почти одинаковы: в «Сне» 23 строки, в «Сне на море» – 22. В том и в другом произведении заметны взволнованные ритмические перебои. Сочинение



Ф.Н.Глинки, опубликованное в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1820, № 11), вполне возможно, было хорошо знакомо Ф.И.Тютчеву, поэтому и не случайны его образно-поэтические отзвуки в «Сне на море», созданном, по утверждению Т.Г.Динесман, «летом 1829 г. в период между 12 июля и 12 августа (н. ст.)», когда поэт «провел какое-то время на Искее в обществе Волконских и Шевырева»<sup>2</sup>.

Несмотря на то, что Ф.Н.Глинка и Ф.И.Тютчев по жизни находились друг у друга в поле зрения почти в течение полувека, в истории русской литературы до недавнего времени не возникала тема об их близком человеческом общении или о творческой перекличке в стихотворном наследии. Только в 1980-е гг. В.В.Кожинов причислил Ф.Н.Глинку к «тютчевской плеяде поэтов» как своеобразной литературной школе. При этом Федору Николаевичу отводилась, пожалуй, одна из важнейших ролей в формировании этого поэтического течения. В.В.Кожинов справедливо заметил, что «тютчевский» стиль возникает фактически «до Тютчева» в творчестве близких ему по духу поэтов: «...поэзия Тютчева была не неким отдельным, сугубо индивидуальным явлением, но воплощала духовные и творческие устремления целого поколения русских людей, целой эпохи национального бытия, – как и поэзия Пушкина»<sup>3</sup>.

Общеизвестны определения поэзии Ф.И.Тютчева как «поэзии мысли», «философской поэзии», которые В.В.Кожинов квалифицирует все-таки слишком широко, как обозначение «вовсе не индивидуальной особенности Тютчева», а «характернейшее свойство поэзии его времени в целом»<sup>4</sup>. Вряд ли эти определения применимы к стихотворному наследию Ф.Н.Глинки. Думаю, ближе к истине Е.Кузнецова, отметившая: «По мнению большинства критиков, высшие достижения Глинки принадлежали к области духовной поэзии. Это весьма характерный факт не только по отношению к поэзии Глинки, но и по отношению ко всей поэтической эпохе»<sup>5</sup>. Объединяло поэтов, включенных в «тютчевскую плеяду», наряду с любовью к «мысли» и «философии» глубокое православное мировидение. Бледна и суха была бы мысль поэтов, если бы она не одухотворялась теплым религиозным чувством. Философский контекст оказывается довольно искусственным и в какой-то мере даже грубоватым для хрупких творений поэтического вдохновения.

Любопытно, что наряду с Феофаном Прокоповичем, Г.Р.Державиным, И.В.Киреевским, М.В.Ломоносовым, А.Ф.Мерзляковым, А.С.Хомяковым и другими православными авторами Ф.Н.Глинка удостоился чести быть включенным в уникальный в области литературо-

ведения и истории русской литературы XIX в. «Обзор русской духовной литературы» архиепископа Филарета (Д.Г.Гумилевского), который был весьма строг при отборе персоналий сочинителей. Отсутствие имени Ф.И.Тютчева в труде преосвященного можно объяснить неосведомленностью составителя обзора в сочинениях поэта: ведь первый сборник «Стихотворения Ф.Тютчева», подготовленный к печати под редакцией И.С.Тургенева, появился только в 1854 г.

Духовные истоки мировосприятия Ф.Н.Глинки лежат в самом образе жизни, который с детства формировался в благочестивой дворянской семье. Своеобразие воспитания и с ранних лет сопричастность к религиозному опыту несомненно сказались на самобытности творческого видения будущего поэта. «Итак, до 8-ми лет, не выходя из рук моей няни, – читаем в автобиографических записках Ф.Н.Глинки, – я не имел никакого сношения с внешним гражданским миром, с *действительной* жизнью. Мимо меня проходило все тогда бывшее. Прозаические заботы домашнего хозяйства также до меня не касались. Но в слабое тело младенца была завернута душа довольно сильная, и она жила, жила независимо от всего *внешнего*, жила своею жизнью, собственной, таинственной. Рано развились во мне две способности: *любовь и жалость к людям*. Я любил страстно, безусловно, свою мать и няню (лучшим наслаждением для меня было сидеть по целым часам, на маленькой скамеечке, у ног моей матери, когда она занималась чтением духовных книг. Но не чтение привлекало меня! Понятие мое развивалось тупо, медленно... Мне просто весело было сидеть подле матушки, ласкаться к ней, *быть* с нею! – Няня (Софья) была другое существо, с которым мне хотелось быть неразлучным. <...>»<sup>6</sup>.

**Конечно, организация быта в доме, запечатленный в детском сознании духовный облик матери тоже по-своему оказали влияние на формирование мировидения Ф.Н.Глинки. В тех же автобиографических записках поэт отмечал: «Помню только, что, пробуждаясь по ночам, не понимая, ни где я, ни что со мною, я видел мать мою стоящую на коленях пред давно затепленною, уже нагоревшею лампадою, и, без сомнения, ее только долгие, всеобщие молитвы удержали меня между живыми на сей земле! – Матушка была искренне-набожною. Священные книги составляли ее чтение. Разговоры о святыне – ее любимые разговоры. Странники, нищие, калеки и убогие толпились у нас в доме. Святая вода, просфоры, масло и другие дары от свя<тых> угодников не переводились»<sup>7</sup>.**

Подобная атмосфера была характерна и для мира детства Ф.И.Тютчева. Об этом свидетельствует правнук поэта К.В.Пигарев: «Дома Тютчев воспитывался в “страхе божьем” и преданности престолу. Стариком он вспоминал, как в пасхальную ночь мать подводила его, ребенка, к окну, и они вместе дожидались первого удара церковного колокола. В канун больших праздников у Тютчевых нередко служились всенощные на дому, а в дни семейных торжеств пелись молебны. В спальне и в детской блестели начищенные оклады родовых икон и пахло лампадным маслом. Но к студенческим годам Тютчев начал тяготиться обрядовой стороной религии, не хотел говеть. Мать сочла нужным подарить ему Библию на французском языке, написав на ней своим крупным почерком: “Папинька твой желает, чтоб ты говел. Прости. Христос с тобой. Люби его”»<sup>8</sup>.

Зять и биограф поэта И.С.Аксаков обратил внимание, насколько в сложный «духовный организм» со временем развился Ф.И.Тютчев, что, конечно, произошло не только под семейным, но и под светским жизненным влиянием.

«В том-то и дело, – отмечал он, – что этот человек, которого многие даже из его друзей признавали, а может быть, признают еще и теперь за «хорошего поэта» и сказателя острых слов, а большинство – за светского говоруна, да еще самой пустой, праздной жизни, – этот человек, рядом с метким изящным остроумием, обладал умом необычайно строгим, прозорливым, не допускающим никакого самообольщения. Вообще это был духовный организм, трудно дающийся пониманию: тонкий, сложный, многострунный. Его внутреннее содержание было самого серьезного качества. Самая способность Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее *смирение*: однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти *народное* свойство (он был весь добродушие и незлобие); с другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и как постоянное же сознание своей личной нравственной немощи»<sup>9</sup>.

Ф.Н.Глинка относился не только к высокообразованным, подобно Ф.И.Тютчеву, но и к воцерковленным, глубоковерующим православным людям своей эпохи. Сам Ф.И.Тютчев справедливо заметил в своем письме к Федору Николаевичу от 16 февраля 1850 г.: «Вы из малого, малого числа весьма зрячих и разумющих»<sup>10</sup>. Яс-

ность ума даже в старости и широкое мировидение обеспечивались у Ф.Н.Глинки чистотой и глубиной его православной веры.

Духовное родство поэтов, позволяющее отнести их обоих к «малому числу весьма зрячих и разумющих», проявилось и в их отношении к декабристскому восстанию 1825 г.

Что касается увлечения Ф.Н.Глинки декабризмом, то известные ныне по следствию и воспоминаниям современников документы не дают оснований «считать его одним из активнейших руководителей тайных обществ», как считалось раньше<sup>11</sup>. В декабристское движение привело поэта то, что он проявлял действительно живой и искренний интерес к самым различным современным ему художественным, общественным, религиозным и политическим веяниям и всюду поначалу энергично впитывал все новое и вел себя довольно деятельно. 15 февраля 1826 г. полковник Глинка отвечал на допросе в Следственном комитете: «В 1816 году, вступая в масонскую ложу, названную *ложью «Избранного Михаила»* (в честь и память избрания родоначальника Романовых), я познакомился там с г<осподино>м Новиковым. По званию масона был я тогда в степени ученика и не знал еще, в чем состояла деятельность сего ордена. Г<осподи>н Новиков, бывший выше меня в степени, говорил мне, что в масонстве только *теории*, а что есть *другое общество* избранных молодых людей, которые положили, образуя себя, действовать в своих кругах по своим силам и возможностям на улучшение всех отраслей наук, художеств, даже ремесел, и упражняться в *практической благотворительности*, делая сборы для бедных, определяя сирот в училища, а безместным приискивая пристанища. Сие общество, как мне сказано, называлось *благотворительным* или обществом *благотворения и наук*»<sup>12</sup>.

Действительно, в масонстве Федор Николаевич прошел путь от оратора и первого надзирателя до ответственной должности наместного мастера ложи Избранного Михаила, а затем как видный представитель этой ложи вошел даже в члены Великой ложи Астреи. Так же активно и увлеченно он включился в деятельность тайных декабристских организаций, находя в их программных декларациях много общего с постулатами православного вероучения, что и подтверждал на допросе: «Бога бояться. Государя чтить. Властям повиноваться. – Вот коренные правила души моей! Я никого не обижаю, ничего не ищу и ничего – на всей земле – ничего не имею!»<sup>13</sup>.

Будучи уверенным в своей невинности, Федор Глинка пишет из Петропавловской крепости письмо императору Николаю I («1826 года марта 21-го. В крепости *свя<тых> Пет<ра> и Павл<а>*. Каземат №. <?>. В 9-й день заключения»): «Государь! Я круглый сирота: нет у меня ни матери, ни отца; а потому и принял я смелость писать к общему отцу Отечества – к вам. <...>

В предпоследний день последнего месяца истекшего года после подробного вопрошения, сделанного мне прозорливым испытателем (генерал-адъютантом В.В.Левашевым. – В.З.) в императорском дворце вашем, вы, государь, как бы повторяя слова вашего великого брата, с неизъяснимым благоволением изволили сказать мне: «*Ты можешь оставаться спокоен: будь покоен!*»

Нельзя исполнить точнее воли в бозе почившего и богом хранимого государя: я был и остаюсь совершенно покоен. Ни теснота моего заключения, ни позор тяжкого ареста, постигшего меня *в первый раз в жизни*, ничто не нарушает моего спокойствия и ничто, ничто даже ни на одну минуту не может поколебать той глубокой, смею сказать, той вечной преданности к высочайшей особе вашей, которую вы, государь, зародили в душе моей вашим ласковым царским словом. Свидетельствуюсь сею частицею неба, которая видна из окна моей тюрьмы, что с 1821 года я не состоял ни в каком *тайном обществе*.

Даже *общество масонов* оставил я за несколько месяцев прежде общего высочайшего повеления на закрытие лож. И сие сделал я по воле моего государя, изъявленной мне не как повеление, но в виде *его желания*.

Я всегда старался ходить под его, священною для меня, волею, и было время (в 1820, 1821 и 1822 годах), когда я с личного ведения его величества занимался некоторыми делами и *одним*, смею сказать, очень важным, которое и осталось тайною в его кабинете.

И всеавгустейшая родительница ваша удостаивала меня неоднократно своим особенным вниманием. Я мню, что и доселе, может быть, ей памятно мое скудное имя, так же как мне незабвенны ее монаршие милости и благосклонные обо мне отзывы.

Во время деятельной моей службы, бог провел меня мимо многих соблазнов корысти. Впоследствии я полюбил нищету: добрые люди давали мне приют и одеяние; я провождал жизнь простую, всегда открытую и, не любя видеть в людях злое, минуя слабости, не замечая пороков и охотно прощая клеветникам, я любил всех как братьей.

Были у меня большие душевные несчастья: ум не находил для них исцеления; святая воля предложила свои утешения, и я по-детски прилепился к *сердечной простоте*. Я поверил, что *с ума* сойти можно, а *с сердца* никогда!»<sup>14</sup>.

Соблазны ума привели Федора Николаевича в Союз Спасения (1818), а затем и в Союз Благоденствия (1820), в деятельности которых он разочаровался. Для него, как истинно верующего христианина, вовсе была неприемлема идея насильственного переустройства мира. Знаменателен его ответ о французской революции, направленный 3 апреля 1826 г. из каземата Петропавловской крепости в Комитет о злоумышленном обществе (по делу Г.Перетца): «*Французская революция!* Сие имя возбуждает во мне *всегда ряд ужасных представлений* и сильно волнует мою чувствительность! Сие смешение крови, огня, мятежей и неистовств, сие взаимное сотерзание страстей, гибель невинности, торжество порока, сей *Марат*, требующий *трех миллионов голов*, дабы остальным просторнее было жить, сей *Робеспьер*, который свирепствовал как тигр, а умер – как подлец, сей параличный *Кутон*, разрушитель Лиона, сей холодный кровопийца *Ле-Бон*, который по *суду* и систематически зарезал целый город *Аррас* (свою родину) и велел вырезать у себя на печати *гильотину* и всю живность для своей кухни *резать на гильотине (!!!)* – сии люди, сии обстоятельства чего могут быть достойны кроме беспредельного омерзения?

Безумные хвалили *ум*; беззаконники срамили *закон*; проповедовали свободу, закрепостив души страстям; и благородная *Ролан* (жена министра) сказала, восходя на *эшафот* (подле которого стояла колоссальная статуя свободы): “О, свобода! Сколько злодеяний совершается во имя твое!” Они судили, и на суд их не являлись ни кроткое жаление, ни всепрощающая *любовь*, ни *милосердие*, утоляющее ярый огонь обличения: во всяком обвиняемом они искали виновного, и суд их был только – *осуждение!*

Какие же тут лица? Какие *личные выгоды*?!! Я уважаю только два лица: аббата *Еджеворта* и высокодобродетельного *Малерба*, который – и под кинжалом убийц – осмелился говорить за *страдальца*, развенчанного насилем и осужденного по закону беззаконием!.. Еще люблю я немножко *Верньо*. Его большая статуя и *теперь* подле лестницы люксембургской. В руке его развернут свиток, на нем читаешь: “Правосудие должно быть открыто и светло, как солнце небесное!”. Но солнце имеет *два великих качества*: светлость (только сияющую) и теплоту

(греющую). Первое – *правда*, а вторая – *милость*. Вот мои мысли! Вот мои слова! Так я *всегда* говорил, так *печатал* и теперь запечатываю *сие* истинностию и чистосердечнейшим уверением в том, что не имею иных понятий о великом бедствии, постигшем Францию, которое называют Французскою революциею»<sup>15</sup>.

В показаниях на следствии Ф.Н.Глинка выразил свое отношение к декабристскому восстанию в целом и изложил собственную политическую веру и гражданскую позицию, опираясь на религиозно-мистический опыт: «Все показывает, что мы уже далеки от тех добронравных времен наших отцов, когда ни проговориться, ни провиниться не страшно было! Когда полагали за великую добродетель *покрыть грех ближнего...* Писание говорит: “Настанет *время лукавое*, когда человек будет *следить* человека, дабы уловить стопы его в сеть!”. Теперь-то начинаю я видеть, *отчего* можно сделаться *холодным эгоистом*: жить только с собою и *про себя*; а мне всегда так противно казалось это состояние!.. Но я знаю, я уверен, что *часть* не может поколебать *целого*! Что значат эти предприятия? Вспышки воспаленных мечтаний!.. Россия тверда! Россия крепка! Россия – луна! Ибо наше отечество составляет 1/7 долю земли, а луна в *семь крат* менее нашей планеты.

**Я представляю себе *Россию*, как некую могучую жену, спокойно, вопреки всего, почиющую. В головах у ней – вместо подушки – *Кавказ*, ногами – плещет в *Балтийском море*, правая рука закинута на *хребет Урала*, а левая – простертая за Вислу – грозит перстом Европе!.. Я знаю, я уверен, что превращать *древнее течение вещей* есть то же, что совать персты в мельничное колесо: персты отлетят, а колесо все идет своим *ходом*... Вот моя *политическая вера*! Вот мои мысли! Вот мои чувства!»<sup>16</sup>. Это была вера монархическая, державная, православная.**

Монархической и державной точки зрения в вопросе о декабристском восстании придерживался и Ф.И.Тютчев, назвавший в стихотворении «14-е декабря 1825» его участников «жертвами мысли безрассудной». Осуждающе по отношению к декабристам звучат уже первые строки сочинения поэта, в которых подтверждается безусловная, законная справедливость наказания бунтарей:

*Вас развратило Самовластье,  
И меч его вас поразил, –  
И в неподкупном беспристрастье*

*Сей приговор Закон скрепил.*

При этом Ф.И.Тютчев встает на позицию не субъективно-личную, а народную, которая совпадает с его собственной:

*Народ, чуждаясь вероломства,  
Поносит ваши имена –  
И ваша память для потомства,  
Как труп в земле, схоронена.*

Поэт, видимо, не сразу пришел к столь жестким оценкам декабрьской трагедии, но работа автора над текстом своего сочинения показывает твердость его позиции в этом вопросе. Известная исследовательница жизни и творчества Ф.И.Тютчева В.Н.Касаткина в обстоятельном комментарии к этому стихотворению пишет: «<...> есть правка в 7-й и 8-й строках: первоначально было – «И память ваша от потомства / Земле живая предана». Поэт переставил слова («ваша память»), порядок слов стал более естественным для разговорного русского языка; это относится и к замене предлога «от» на «для». К.В.Пигарев (см. статью «Стихотворение Тютчева «14-е декабря 1825». Урания. С. 72) придает особое значение первоначальному варианту 8-й строки, мысли поэта о том, что память о декабристах «живая»: «Силою исторических обстоятельств память о декабристах погребена, но она не умерла, она и на земле – живая. Вот скрытая возможная мысль поэта». Однако Тютчев не сохранил вариант строки, позволяющий подобное истолкование своей позиции, он ввел образ – «Как труп в земле, схоронена». В стихотворении сохранилась двойственность отношения поэта к декабристам: «Самовластье» – развращающая сила, оно «вечный полюс», «вековая громада льдов», но усилия деятелей 14 декабря бесплодны и исторически бесперспективны из-за их малочисленности («скудной крови») и этической недопустимости («вероломства»), поэт апеллирует к объективности («неподкупности») закона»<sup>17</sup>.

С июня 1825 г. по январь 1826 г. Ф.И.Тютчев находился в России. Примечательно, что в это время он опубликовал три стихотворения – «К Нисе», «Песнь скандинавских воинов» и «Проблеск» – в альманахе «Урания. Карманная книжка на 1826 год для любителей-



ниц и любителей русской словесности», изданном М.П.Погодиным, его другом по Московскому университету и во многом духовно близким человеком. М.П.Погодин отправил вышедший альманах по почте сосланному в Олонецкий край Ф.Н.Глинке и просил его о присылке стихотворений для будущей «Урании». «Уранию за 1826 год получил, – сообщал Ф.Н.Глинка 21 июля 1827 г. в своем письме из Петрозаводска, – и с большим удовольствием читаю»<sup>18</sup>. Следует отметить, что в 1860–1870-е годы М.П.Погодин будет тесно связан как дружескими, так и деловыми связями с Ф.Н.Глинкой: несколько лет они посвятят собиранию и изданию обширного литературного наследия Федора Николаевича (к сожалению, собрание сочинений писателя останется все-таки незавершенным: выйдут только том духовных стихотворений, переиздания «Таинственной Капли», «Иова. Свободного подражания Священной Книге Иова», «Карелии, или Заточения Марфы Иоанновны Романовой» и «Писем русского офицера»). Известно, что «Письма русского офицера» Ф.Н.Глинки и его патристические статьи в «Русском вестнике» оказали сильное влияние на развитие М.П.Погодина еще в детском возрасте. Этим ранним опытом духовных чтений, наверняка, М.П.Погодин делился со своим близким университетским товарищем Ф.И.Тютчевым.

Безусловно, духовное родство Ф.Н.Глинки и Ф.И.Тютчева проявлялось и в их отношении к С.Е.Раичу, бывшему другу первому и воспитателем второго с его девятилетнего возраста, в причастности к литературному кружку этого добродушного, общительного и щедрого человека. В Общество друзей С.Е.Раича наряду с Ф.И.Тютчевым и М.П.Погодиным входили многие другие близкие Ф.Н.Глинке люди: М.А.Максимович, Н.В.Путята, М.А.Дмитриев, С.П.Шевырев... В начале 1823 г. это Общество издало альманах «Новые Аониды на 1823 г.», где были напечатаны среди прочих лучших сочинений прошедшего 1822 г. стихотворные произведения уже всеми признанного и почтенного Ф.Н.Глинки и совсем еще юного, девятинадцатилетнего Ф.И.Тютчева. Однако сведениями о личном общении этих двух поэтов в 1820-е годы мы, к сожалению, не располагаем.

Дней за 8–10 до восстания на Сенатской площади, в начале декабря 1825 г., Ф.И.Тютчев прибывает из Москвы в Петербург. Известно лишь, что 12 декабря поэт вместе с братом Николаем посетил В.П. и С.Д. Шереметевых<sup>19</sup>.

Жизненные обстоятельства начиная с 1826 г. заметно осложняются как у опального Ф.Н.Глинки, до 1830 г. пребывавшего в Олонецком крае, а затем до 1833 г. находившегося под полицейским надзором в Твери и Орле, так и у находившегося за границей на дипломатической службе Ф.И.Тютчева (проблема получения официального разрешения на вступление в брак с Элеонорой Петерсон, совершенный де факто в Париже в конце июля 1826 г. по лютеранскому обряду; Высочайшее соизволение на брак получено 28 ноября 1828 г., бракосочетание по православному обряду совершено 27 января 1829 г.). Однако пространственная отдаленность поэтов не могла стать причиной их духовной разъединенности. Они оказываются на редкость единодушными в оценках литературных явлений, которые не принимались многими авторитетными критиками. Так произошло в отношении к В.Г.Бенедиктову, ставшему со временем близким другом Ф.Н.Глинки, но в основном не принятому в кругах литературной элиты. Ф.И.Тютчев же, получив первый сборник молодого поэта «Стихотворения», вышедший в 1835 г., писал 2 мая 1836 г. атташе русской миссии в Мюнхене князю И.С.Гагарину: «Очень благодарен за присланную вами книгу стихотворений. В них есть вдохновение и, что служит хорошим предзнаменованием для будущего, наряду с сильно выраженным идеалистическим началом есть склонность к положительному, вещественному, даже к чувственному. Беды в этом нет... Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле»<sup>20</sup>. С начала 1840-х гг. Ф.Н.Глинка, Ф.И.Тютчев и В.Г.Бенедиктов станут активными авторами «Москвитянина» и других изданий славянофильской ориентации, тем самым будут проявлять духовную поддержку патриотическому движению. Эта поддержка носила деятельный характер.

В январе–апреле 1847 г. Тютчев писал из Петербурга мужу сестры – литератору Николаю Васильевичу Сушкову: «Любезнейший Николай Васильевич, я сильно запоздал поблагодарить вас за вашу любезную посылку, зато я не опоздал прочесть ваше произведение. Гораздо раньше, чем я получил ваши два экземпляра, мы уже прочли вашу драму-поэму (поэму «Москва». – В.З.). Говорю мы, и это так и есть, ибо большинство лиц, с которыми мне пришлось говорить о ней, уже успели ознакомиться с нею. Князь Вяземский просит меня передать вам его благодарность и хвалебный отзыв. Ему, как и мне, очень понравилось ваше произведение в целом и более чем понравились отдельные места. Что касается до меня

лично, – наиболее тронул и восхитил меня в вашем произведении его язык. Вот, благодарение богу, язык живой, язык, имеющий корни в родной почве. И это сразу чувствуется по его яркости, по его благоуханию. Но именно эта-то бесспорная заслуга вашей поэмы, – печать народности, которою вы ее запечатлели, – и навлечет на вас ругань со стороны гнусной клики, состоящей из нескольких здешних журналистов, которые инстинктивно ненавидят все, что имеет вид и привкус народности. Дурное это семя, и если дать ему развиваться, – оно принесет весьма печальные плоды. Я слышал кое-какие толки о ваших обидах на приятеля Глинку и пришел бы по этому поводу в должное негодование, если бы знал несколько точнее подробности предательства, которое он совершил по отношению к вам. Однако в вашем произведении имеется безусловно немало ценного, чтобы ввести вора в искушение, – это я очень хорошо знаю»<sup>21</sup>. В этой конфликтной истории, получившей большую скандальную огласку в Москве, Ф.И.Тютчев попытался выступить в роли примирителя, и заключительная шутовская фраза в приведенном отрывке из письма – дипломатическая уловка увести рассерженного автора от раздражающей его темы.

Поэма «Москва» была написана Н.В.Сушковым по призыву издателя «Москвитянина» М.П.Погодина «почтить семисотлетие» первопрестольной. По свидетельству Н.П.Барсукова, это сочинение оказалось «поводом неприятного столкновения между автором и Ф.Н.Глинкою. Дело в том, что почти одновременно с поэмою и по тому же случаю Ф.Н.Глинка написал драматическую пьесу и поставил ее на сцену»<sup>22</sup>. О развитии конфликта сделал пометки в своем дневнике М.П.Погодин: «<...> 8 февраля 1847: Должен был захватить к Сушкову, который обвиняет Глинку в краже стихов и мыслей. Ах, как бы я рад был запереться теперь в деревне.

– 20 февраля: Вечером Дмитриев, который рассказал о бунте Сушкова: безумец вставляет даже мое имя, будто я приезжал к нему и сказывал о Глинке. Черт их возьми»<sup>23</sup>. В результате скандал между двумя авторами стал приобретать более широкий масштаб. «Эта неприятная история, – комментирует Н.П.Барсуков, – скоро огласилась по Москве и дошла до слуха западников, и уже 4 марта 1847 г. Боткин писал Краевскому: «Живем мы по милости Божией и любуемся на живые картины, в которых московские барыни, вдохновясь словенскою красотою Глинки и Дмитриева, представляют нам на шарадах мистическое вселенское зна-

чение Москвы; но словенский мир чуть было не сделался зрителем трагического происшествия. Бывший губернатор, а ныне поэт, Сушков<sup>24</sup>, разъезжая всюду, объявлял и жаловался каждому, что Глинка украл у него мысли из его рукописной поэмы о *Москве* и представил эти мысли на сцене... Поэт ездил и к митрополиту, и к Щербакову, и к Строганову, и наконец просил одного полицеймейстера распространить даже между купечеством, что мысли в сцене Глинки принадлежат ему, Сушкову. Наконец он решительно объявил, что хочет бить Глинку, этого щенка. Глинка принужден был обратиться к Щербакову и просить у него защиты. Тот призвал к себе Сушкова и уговорил дать ему слово, что он Глинку бить не будет»<sup>25</sup>.

Давая сочинению Н.В.Сушкова столь высокую оценку, Ф.И.Тютчев, безусловно, хотел примирения рассорившихся авторов, так как питал к ним одинаковую симпатию. Узнав о смерти своего родственника, Федор Иванович 9 июля 1871 г. писал из Петербурга своей дочери Екатерине: «Не могу представить себе, что он, такой добрый и жизнерадостный, так живо всем интересовавшийся даже во время своей смертельной болезни, – так просто и спокойно ожидавший смерти, – не могу осознать, что он тоже ушел от нас, унося с собой целый мир традиций, который уже не вернуть. <...> Да упокоит господь душу его. Ибо он был истинный христианин и сердцем чист, как дитя»<sup>26</sup>.

Судя по всему, Н.В.Сушков со временем великодушно забыл обиды на Ф.Н.Глинку, связанные с поэмой «Москва», и продолжал так же дружески общаться с ним. Это подтверждает приятельский тон вопроса спиритической записи, сделанной Ф.Н.Глинкой в начале 1860-х годов по поводу решения судьбы изданной в Берлине книги «Таинственная Капля»: «Сушков, женатый на сестре Федора Ив. Тютчева, говорит, что надо просить *Тютчева* (имеющего власть решить и вязать книги) – «о дозволении ввезти поэму в Россию». –

Нужно ли мне писать к Тютчеву?

+ Можно, хорошо бы поговорить с дочерью Тютчева Анной. Она очень благочестивая Благонамеренная и просвещенная особа, почему бы Сушкову самому не постараться и не помочь тут чем больше тем лучше...

Жуковский +»<sup>27</sup>.

Несмотря на то, что Ф.И.Тютчев большую часть своей жизни провел на Западе, он питал нескрываемую любовь к родным местам. Так, 9 июня 1854 г. он писал Эрнестине Федоровне из Москвы: «Со своей стороны я утверждаю, что в качестве дачного местопребывания Москва, летняя Москва, – лучшее, что есть в России. Должно быть, в этой местности заключается нечто родственное моей природе»<sup>28</sup>. Такое чувство Ф.И.Тютчев питал к первопрестольной не только в силу климатических или природных условий ее бытования, но и по причине особого круга общения, которое он находил здесь весьма благоприятным для своего расположения духа. Именно в этом городе, славившемся крепкими русскими национальными традициями, в среде славянофильски настроенных людей могли происходить встречи поэта и с Ф.Н.Глинкой, так же тепло и трепетно любившим «город чудный, город древний». Их встреча вполне могла состояться в доме П.Я.Чаадаева, с которым обоих связывали тесные дружеские отношения. Кстати, Глинки в Москве жили недалеко от П.Я.Чаадаева, дом которого располагался на Новой Басманной, частенько обменивались визитами.

Федор Николаевич с благоговением относился к людям исключительной судьбы, что влекло его и к П.Я.Чаадаеву, хотя он понимал всю беспокойную противоречивость и трагическую судьбу этой личности. 27 ноября 1863 г. Ф.Н.Глинка писал племяннику П.Я.Чаадаева М.И.Жихареву, выражая благодарность за присланное «фотографическое изображение кабинета незабвенного и частопоминаемого Петра Яковлевича»: «У меня портрет П<етра> Яковлевича, им же подаренный, стоит в красном угле, а под портретом (для не знавших его), вместе с его автографом помещены стишки, с которых копию Вам посылаю». В этом стихотворении с характерным подзаголовком «Человек, памятный Москве» поэт запечатлел не только портрет личности, примечательной для русской истории, но и выразил свое отношение к эпохе:

*Одетый праздником, с осанкой важной, смелой,*

*Когда являлся Он пред публикою белой*

*С умом блистательным своим,*

*Смиралось всё неволью перед Ним!..*

*Друг Пушкина любимый, задушевный,*

*Всех знаменитостей тогдашних был Он друг:*

*Умом Его беседы увлеченный,*

*Кругом Его умов теснился круг;*

*И кто не жал Ему с почтеньем руку? –*

*Кто не хвалил Его ума?..*

*Но пил и Он из чаши жизни муку*

*И выпил Горе от Ума!!!...<sup>29</sup>*

П.Я.Чаадаева связывала с Ф.Н.Глинкой духовная близость, его привлекала глубокая религиозность Федора Николаевича, он часто бывал в московском доме Глинок и любил вести там беседы на религиозные темы. Посылая Петру Яковлевичу свое сочинение «Жизнь Пресвятой Девы Богородицы», Авдотья Павловна отмечала: «В разговорах Ваших, когда мне случалось их слышать, я всегда замечала направление религиозное, которое гораздо утешительнее нынешнего модного философического. Религия имеет в себе столько обетов, столько теплоты и пищи для души, которая так часто зябнет и томится среди мудрований века, может, и блистательных, но мало утешительных»<sup>30</sup>. Действительно, П.Я. Чаадаев часто прибегал к душевспасительным беседам Федора Николаевича. В одном из своих писем к нему он, прося прислать «проповеди митрополита»<sup>31</sup>, писал: «<...> Я все болен. <...> Когда с вами увидимся? Это великое было бы для меня утешение»<sup>32</sup>. П.Я.Чаадаева в произведениях Ф.Н.Глинки привлекало именно их религиозно-патриотическое звучание: «Мне удалось, почтеннейший Федор Николаевич, выразить Вам прошлым вечером удовольствие, которое ваше чтение мне доставило. Позвольте же теперь попросить у вас два из прочтенных стихотворений – *Московские думы* и *Молитва Богородицы*. – Они мне чрезвычайно понравились <...>»<sup>33</sup>.

Фотографический снимок с картины художника К.П.Бодри, изображающей кабинет П.Я.Чаадаева в его квартире на Новой Басманной, М.И.Жихарев, видимо, не случайно одновременно отправил и Ф.И.Тютчеву, который 30 ноября 1863 г. в ответ ему писал: «Милостивый государь, от души благодарю вас за драгоценный подарок. Не без умиления узнал я в присланной вами фотографии знакомую, памятную

местность – этот скромный ветхий домик, о котором незабвенный жилец его любил повторять кем-то сказанное слово, что весь он только одним духом держится<sup>34</sup>.

И этим-то его духом запечатлены и долго держаться будут в памяти друзей все воспоминания, относящиеся к замечательной, благородной личности одного из лучших умов нашего времени»<sup>35</sup>.

Духовные связи Ф.И.Тютчева с Ф.Н.Глинкой проявляются не только в атмосфере круга их общения, но и в их рассуждениях, близких по темам и по мировоззренческим понятиям. Это касается прежде всего общественно-политической обстановки в Европе и в России, порождающей ключевые для судьбы человечества духовно-нравственные проблемы. Острые вопросы современности Ф.Н.Глинка рассматривал сквозь призму вечного религиозного опыта и пытался вынести их решение в сферу художественную, для убедительности придать им, как он это делал еще в ранний период создания «опытов аллегорий, или иносказательных описаний», форму аллегорическую, «старался облечь в одежду Поэзии сокровеннейшие ощущения, высшие истины» и «приблизить их к людям в виде более осязаемом». В конце 1830-х годов у него возникает замысел написать религиозную поэму «Видение Макария Великого».

**В действительности это сочинение Ф.Н.Глинки во многом оказалось на удивление пророческим. Взяв за основу из жития Макария Египетского эпизод-легенду «видения» святому сатаны<sup>36</sup>, сказавшего «сыну пустыни»: «Помни слова мои: придет, говорю тебе, время, когда бесы станут заходить к людям разве только за тем, чтоб дивиться на людей, чтоб у них учиться!»<sup>37</sup>, – автор предлагает читателю задуматься «о свойстве и приметах времени, на которое указывало таинственное существо». В качестве эпиграфа к поэме Глинка взял слова немецкого автора мистических сочинений и пастора XVIII в. Фридриха Кристофа Эттингера: «Здесь идет речь о *человечестве*, – о судьбах *человека!*». Основному, стихотворному тексту поэмы предшествуют прозаические: предисловие «От сочинителя», «Прибавление» к нему и «Позднейшее прибавление».**

У поэта возникает необходимость обосновать свою авторскую позицию, убедительно, с приведением реальных фактов и нравственно-религиозных доводов подкрепить поэтический, иносказательный смысл сочинения. Ф.Н.Глинка приводит рассуждение «мудреца всех веков и любимца нашего времени» Шекспира об уме из трагедии «Генрих VIII»:

«Развратись только ум, и все эти дивные дары (дар оратора, дары наук, образование и проч.), *направившись в дурную сторону*, принимают тотчас же формы порока и делаются в десять раз гнуснее, чем прежде были прекрасны»<sup>38</sup>.

Вспомнить шекспировские слова заставило автора «Видения Макария Великого» состояние современной ему философии, или, как он говорил, «лжемудрования» Прудона и Гегеля, опиравшихся в своих размышлениях на рассудок и материализм и отрицавших животворную силу религиозного верования. Ф.Н.Глинка выступает против того «нового развития», «которое навязывают нам разнузданные орды коммунистов и всеокрушительные учения туманных мыслителей». Он сетует: «Едва ли не сами, неуместным и судорожно-суевливым вмешательством в *Великое Дело Провидения, которое хозяйственно распоряжается временами и сроками*, едва ли не сами накликали мы эту апокалипсическую **словесную саранчу**, которая пожирает теперь, в глазах наших, нивы, так старательно засеянные отцами! Все благодатнейшие ощущения доброго, прежде пламенного сердца привлекли мы сами к железному подножию холодного судии, называемого *Умом*»<sup>39</sup>.

Но сочинитель не поддается отчаянию и пессимизму, его светлая душа полна веры и надежды на грядущее спасение, поэтому он смело и с каким-то радостным воодушевлением выступает «наперекор веку», «против течения потока» и взывает: «Не пора ли, скажем мы, *человечеству*, исстрадавшему, истомленному, пережившему все: и *работу египетскую*, и *плен*, и рассеяние вавилонское, не пора ли, – так долго блуждавшему по путям заблуждения, – этому *блудному сыну* возвратиться на покой, ко Отцу своему? – Промотав все заветное наследие, наскитавшись по чужим странам, наевшись желудей и скотского корма, не пора ли вспомнить о *прежней* невинности золотых дней своих; о свежей девственности жизни, не знавшей зноя *разнузданных* страстей; о тихом домашнем счастье *семьи*; о дружбе, о любви, о доме Отца своего? – А этот Отец уже стоит на пороге и готов покрыть лобзаниями любви и прощения утомленную мыслью голову, изъеденную страстями грудь и все обветшалое тело своего бедного блудного сына!.. Итак, вот *мысли*, на которых построено “**Видение Макария**”!»<sup>40</sup>.

Выступая самой направленностью поэмы против «треклятого» бе-са, так повадившегося «ходить в мир» к «близоруким детям Адама» «с питьем, от которого дуреют люди», «с удицами для уловления душ», с сетями да капканами, Ф.Н.Глинка понимал, что ополчается против себя тех,



кто вел в то время «скрытую работу» по установлению «нового развития», и писатель завершал первый вариант предисловия словами: «Люди, залюбовавшиеся *разгулом века*, нечестивыми возгласами германских натуралистов и в то же время привыкшие довольствоваться *смазливymi куплетцами* водевильной веселости, закричат против пьесы, выступающей *против течения потока, навстречу* всем принятым мнениям, *наперекор веку*, без всех туалетных прикрас художественности, в *суровом* домашнем холсте и с какою-то *апокалипсической сумрачностью*... Автор предчувствует это и облакает себя в железную *броню терпения*»<sup>41</sup>.

Распространение безверия, а затем атеизма и нигилизма, брожение умов, замешанное на холодной закваске материализма, – вся эта духовная смута, так волновавшая Глинку в конце 1830-х – начале 1840-х годов, вылилась в августе 1848 г. в кровавую Французскую революцию, последствия которой были своеобразно предначертаны уже в «Видении Макария Великого»: «Звезда упала в кладезь, и дым, от нее востекший, помрачил умы; Ангел, державший серп, уронил его на землю, и восшумела земля, возмутились народы...». Трагические революционные события во Франции горько убеждали Федора Николаевича в справедливости нарисованных им в поэме картин «сатанинской» жизни заблудшего и потерявшего нравственно-религиозные ориентиры человечества, ранее казавшиеся ему довольно резко очерченными («наперекор веку»).

В «Прибавлении» к прежнему предисловию о происшедшем во Франции он писал: «Все это, однако ж, как показывает ближайшее рассмотрение дела, случилось *не вдруг*, не внезапно. Всё шло, надходило и близилось *по-степенно*. – *Коммунизм*, тождественный с древнею сектою *Николаитов* (смотри. Апокалипс<ис><sup>42</sup>), не вдруг выказал свою косматую лапу. Он действовал скрытно, логически, искусно меняя имя и место. Но всегда, в каком бы виде не являлся, продолжал, как прилежный паук, одну и ту же работу. – *Перешептываясь с страстями современного человечества*, в высшей степени раздражительного, он подводил извилистые подкопы свои под основания всех порядков и, овладев мало-помалу *подпольем* всего европейского быта, разостлал свою густонасмоленную *подстилку* под роскошными коврами, которыми Европа убрала свои пировые залы, беспечно торжествуя *долговременный мир*. Чему ж дивиться после того, что одна нечаянно выроненная искра зажгла сплошной пожар? – И на пепле этого-то повсеместного пожара, который в одном месте

гасят, в другом раздувают, происходит теперь какая-то *великая трагедия*: одно *начало* старается затравить *другое*, спуская, вместо собак, целые стаи *пролетариев*. – Вот положение Европы, в которой бури, начавшиеся вместе с февральскими метелями *високосного 1848* года, угрожают сбить все *межевые столбы*, испортить всю *географию* и смешать министеральные расчеты всех – сосуд гражданственности опрокидывают *вверх дном*, и влага его, с каждым днем, *мутится* более и более...»<sup>43</sup>.

В «Позднейшем прибавлении» Ф.Н.Глинка «общий взгляд на общее потрясение древних порядков и вещей в Европе» дополняет конкретными примерами разрушительных революционных событий, что невольно склоняет его к выводу, печально подтверждающему убедительную выразительность картин, представленных в «Видении Макария Великого»: «После всего этого, хотя не хотя, не должны ли вы сознаться, что едва ли не настало уже время, когда *бесы* могут придти учиться у *людей*?»<sup>44</sup>.

Предвосхищая недоуменное восприятие современными читателями некоторых весьма впечатляющих и смелых картин будущего, подсмотренных бесом в «*тайных* книгах» сатаны, сочинитель необычной религиозно-фантастической поэмы вынужден был объясниться по поводу своих как духовных, так и общественных позиций, представленных в «Видении Макария Великого», и заранее просил не называть его «*ни раскольником, ни старовером*». «Он просто *наблюдатель*, – скромно характеризовал себя автор, – и если рисунки и очерки, им выставленные, затронут вашу любовь к какому бы то ни было *времени и порядку вещей*, то сознайтесь, что, видно, они – эти очерки – *верны с подлинником*: иначе вы не обратили бы на них внимания. – Автор отнюдь не восстает *против* наук (хоть иногда и повторяет, про себя, с Грессетом<sup>45</sup>: «Хоть *меньше* знать, да *лучше* б жить!..»), он доказывает, или желал бы только доказать, что *науки* (по данному им теперь направлению) и *успехи* в жизни общественной не всегда идут *рядом* с успехами нравственными и что *комфорт*, – этот *представитель материальности*, – не должен быть любимой целью ни человека, ни общества»<sup>46</sup>.

Ф.Н.Глинка, обеспокоенный религиозно-нравственным и общественным состоянием современного ему мира, хотел в предисловии к поэме показать, что «*худое* направление», проявляющееся в последнее время открыто, без зазрения совести, словно бес, развязанно и цинично откры-

венничавший перед Макарием Великим, имеет свои корни в истории. В качестве доказательства поэт приводит мнения и суждения исключительно иностранных авторов, как обозначавших в своих художественных произведениях отступление человечества от дороги, ведущей в Небеса, так и открыто отрицавших Бога и святотатствовавших (Прудон: «Бог – это зло»). Тут и Грессе, и Шекспир, и «сам праотец *нынешней* философии Спиноза», но в основном это современники Федора Николаевича: так нелюбимый им философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), а в его лице и все «гегелисты», среди которых прежде всего автор «Жизни Иисуса», отрицавший достоверность Евангелий Давид Фридрих Штраус (1808–1874), писатель Александр Дюма-сын (1824–1895), духовный историк и поэт Эдгар Кинэ (1803–1875), безбожники Карл Грюн (1817–1887) и Пьер Жозеф Прудон (1809–1865), «диктатор», генерал Луи Эжен Кавеньяк (1802–1857), автор «Истории Французской революции» Адольф Тьер (1797–1877), римский папа Пий IX (1792–1878), французские и немецкие пасторы и архидиаконы... И никого из русских! Как будто «апокалиптическая *словесная саранча*» в виде идей «разнузданных орд коммунистов» и «всесокрушительных учений туманных мыслителей» еще не свалилась на землю русскую, а витала вокруг нее молвой газетных и журнальных сообщений.

Поэт призывал прислушаться к апокалиптическому гулу, возникшему то в одной, то в другой точке Европы, вдумчиво отнестись к картинам тех или иных кровавых событий, развивавшихся подобно описанным в Откровении Иоанна Богослова. «Присмотритесь хорошенько к *событиям* века, – обращался он к читателям-современникам в предисловии к поэме, в которой собирался изобразить видение благочестивого монаха IV века, – прислушайтесь к говору народов. – Откуда эта тревога на земле?... Это множество *вопросов*? Эти *пытливые* пересмотры давно решенных дел? – Эта потаенная война *новой* мысли с *старыми* понятиями? – Что значат все *эти поверки* верований, этот гласный, *всеобщий суд* народа над народом, человека над человеком?! – “Покайтесь! – увещевает церковь, – исповедайте грехи свои!” – И никто не слушает церкви, а между тем, бессознательно, сама собою, происходит на земле великая *вселенская исповедь*: всякий высказывает *вслух* не только *грехи*, даже малейшие слабости – *своего соседа!*»<sup>47</sup>. Только Православная русская церковь и священная самодержавная власть представлялись для Ф.Н.Глинки незыблемыми.

Однако общественное сознание и настроения в России, во многом подверженные уже заметному западноевропейскому влиянию, вызвали тревогу и растерянность поэта. «Не замечаем ли мы, что с каждым днем все более и более встречается какая-то неловкость в *бытах наших?* – писал он в раннем предисловии к «Видению Макария Великого». – И как же этому быть иначе? Всмотритесь и сознайтесь, что мы идем *оцупью*. Все пути перепутались, все маяки погашены; об отклонении магнита, на компасах, ведут спор, а *звездам не верят!* – И в этой *беспутице*, когда *старые дороги* покинули, а *новых* найти не умеют, всякий направляет свой корабль *по своим догадкам*»<sup>48</sup>. Эти «догадки» автор поэмы и представил в тех картинах, которые нарисовал в видении Макарию Великому вертлявый бес. Все фантазмагорические сцены будущего в поэме дышат апокалиптическим ужасом, растлением и безумием, постигшим человечество.

Познакомившись в 1840 г. с поэмой Ф.Н.Глинки, М.П.Погодин, по-видимому, просто не решился публиковать такое странное «Видение». Может быть, у издателя вызвали сомнение резкие и невероятные картины будущего, нарисованные старым и почитаемым другом смело и с большим размахом поэтического воображения. Однако в «Прибавлении» к поэме, написанном по следам событий Февральской французской революции 1848 г., Федор Николаевич с горечью отмечал, что все его, казалось бы, причудливо-фантастические предсказания десятилетней давности сбываются сейчас и уже вышли из рамок неопределенного художественного времени. События из сатанинских «тайных книг» как бы оживали, разворачивались в современной действительности, и не были уже принадлежностью вымышленного пространства. «Всё, что *здесь написано* (кроме небольших позднейших прибавлений), было написано задолго до *последних* событий в Европе, – подтверждал автор актуальность своего сочинения и верность апокалиптических предчувствий. – Не требующие никаких дальнейших объяснений, эти события говорят сами за себя. Рука Провидения сорвала символическую печать, разоблачила лицо *тайны*. *И несть уже тайны иже не открывается!*.. Все, что некогда творилось и мыслилось в сокровеннейших углах домов, проповедуется теперь *на кровлях*. Тиснение и свободное слово огласили всё *домашнее*, всё *задушевное*. – Чудные дела довелось нам видеть!.. Все уставы переставляются; все привычные взгляды на мир, на жизнь, на человечество получают направление *новое*, небывалое. Все вековые здания как будто назначены на сломку. Европа распускается как старый невод,

тает как соль, под которую подтекла вода. Все творение гражданственности пересотворяется»<sup>49</sup>.

Кровавые события 1848 г. во Франции Федор Николаевич воспринимал особенно болезненно, под их впечатлением он написал «Позднейшее прибавление» к поэме, в котором отмечал подтверждение словам «вертлявого существа», говорившего Макарию Великому, что «бесы станут заходить к людям разве только затем, чтоб дивиться на людей, *чтоб у них учиться*». Современная поэту действительность приводила тому чудовищные свидетельства: «Прежде анатомировали только трупы, теперь самые болезненные рассечения хирургические производят над *живым человеком!* – Хотите ли добавить к этому, что (в сем 1848-м году) *мессинцы*, схватив у неприятеля 30 человек, *сжарили их и съели*, что *венгерцы* сдирали с живых людей кожу, что *баррикады парижские* освещались *головами человеческими*, у которых вырвали язык и, вместо него, налили в рот сала и вставили фитиль, взоткнув эти лампы на колья; хотите ли добавить еще, что в Трансильвании жарили младенцев и заставляли *матерей* оборачивать вертели, на которых сжигались их дети; прибавьте, что в Париже затевали *живые баррикады*, т.е. поставить вместо шанцев *детей, старух и жен* граждан и стрелять *из-за них по городу* <...> – и вы согласитесь, что всё это рисует перед *вами время*, едва ли похожее на какое-либо *другое*»<sup>50</sup>. Таковы были жутчайшие аргументы, доказывающие, что материальный и общественный прогресс не только не идет рядом с «успехами нравственными», но и по-разбойничьи, по-дьявольски разрушает духовные первоосновы земного бытия.

В подтверждение мысли о резком нравственном падении человечества Ф.Н.Глинка приводил события недавнего прошлого, которые на фоне событий 1848 г. представлялись как элегантный сказочный сон человечества. «А хотите ли, посредством исторического факта сделать поверку: куда повел прогресс нынешнее человечество? – задавал автор поэмы риторический вопрос и тут же отвечал: – Вот пример: в 1745-м году в сражении *при Фонтенуа*<sup>51</sup> обе сражающиеся стороны, сойдясь близко, остановились и учтиво одна другой предлагали *честь первого выстрела*... Как же сравнить *эту* прошлую *людскость* с *нынешним людоедством?!...*»<sup>52</sup>. Все это убеждало автора в том, что сочиненная им во второй половине 1830-х годов поэма сохраняла значимость и актуальность своего содержания и в конце 1840-х годов, подтверждало правоту ее основной идеи, почерпнутой из жития Макария Великого и

развитой в духовных беседах преподобного Отца Православной церкви. «После всего этого, – заключал Федор Николаевич все наброски вступления к своей поэме, – хотя не хотя, не должны ли вы сознаться, что едва ли не настало уже время, когда *бесы* могут придти учиться у *людей*?»<sup>53</sup>.

Не так эмоционально-трагически воспринимал происходившие общественные катаклизмы Ф.И.Тютчев. Кстати, он, как и Ф.Н.Глинка, считал, что в охваченной революционным брожением Европе Россия остается еще той здоровой действительностью, которая является спасительной для человечества. В апреле 1848 г. Ф.И.Тютчев направил императору Николаю I написанную по-французски записку о положении Европы после Февральской революции (впервые напечатана в Париже в 1849 г. под заглавием «Россия и Революция»). В ней он отмечал: «Давно уже в Европе существует только две действительные силы – Революция и Россия»<sup>54</sup>. И далее пояснял различие этих двух образовавшихся в мире духовных полюсов: «Россия прежде всего христианская империя; Русский народ – христианин не только в силу православия своих убеждений, но еще благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения. Он христианин в силу той способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция – прежде всего враг христианства! Антихристианское настроение есть душа Революции; это ее особенный, отличительный характер. Те видоизменения, которым она последовательно подвергалась, те лозунги, которые она попеременно усвоила, все, даже ее насилия и преступления, были второстепенны и случайны: но одно, что в ней не таково, это именно антихристианское настроение, ее вдохновляющее, и оно-то (нельзя в том не сознаться) доставило ей это грозное господство над вселенною. Тот, кто этого не понимает, не более как слепец, присутствующий при зрелище, которое мир ему представляет»<sup>55</sup>.

Созвучны мыслям, высказанным Ф.Н.Глинкой в предисловиях к «Видению Макария Великого», рассуждения Ф.И.Тютчева о причинах революционных волнений и о двойственной морали революционеров. «Человеческое я, – писал он в предложенной императору записке, – желая зависеть лишь от самого себя, не признавая и не принимая другого закона, кроме собственного изволения, словом, человеческое я, заменяя собою Бога, конечно, не составляет еще чего-либо нового среди людей; но таковым сделалось самовластие человеческого я, возведенное в политическое и общественное право и стремящееся, в силу этого права, овла-

деть обществом. Вот это-то новое явление и получило в 1789 г. название Французской революции.

С той поры, не взирая на все свои превращения, Революция осталась верна своей природе и, быть может, никогда еще в продолжение всего своего развития не сознала она себя столь цельною, столь искренно антихристианскою, как в настоящую минуту, когда она присвоила себе знамя христианства: «братство». Во имя этого можно даже предполагать, что она достигла своего апогея. И подлинно, если прислушаться к тем наивно богохульным разглагольствованиям, которые сделались, так сказать, официальным языком нынешней эпохи, – не подумает ли всякий, что новая Французская республика была приобщена ко вселенной лишь для того, чтобы выполнить евангельский закон? Именно это призвание и было приписано себе теми силами, которые ею созданы, за исключением, впрочем, такого изменения, какое Революция сочла нужным произвести, а именно – чувство смирения и самоотвержения, составляющее основу христианства, она намерена заменить духом гордости и превозношения; благотворительность свободную и добровольную – благотворительностью вынужденною; и взамен братства, проповедуемого и принимаемого во имя Бога, она намерена утвердить братство, налагаемое страхом к народу-владыке»<sup>56</sup>.

Главную вредоносную и губительную цель революции Ф.И.Тютчев усматривал в крушении духовных, основанных на религиозном христианском чувстве основ мироздания. Об этом он рассуждал и в известной своей более поздней работе «Папство и Римский вопрос», написанной в Петербурге 1–13 октября 1849 г.: «Впрочем, революция сама позаботилась о том, чтобы не оставить в нас ни малейшего сомнения относительно ее истинной природы. Отношение свое к Христианству она формулировала так: “Государство, как таковое, не имеет религии”, ибо таков символ веры новейшего государства. Вот, собственно говоря, та великая новость, которую революция внесла в мир, вот ее неотъемлемое, существенное дело – факт, не имеющий себе подобного в предшествовавшей истории человеческих обществ. В первый раз политическое общество отдавалось под власть государства, совершенно чуждого всякого высшего освящения, государства, объявлявшего, что у него нет души; а если и есть, то разве душа беззерная; ибо кто не знает, что даже в языческой древности, во всем этом мире по ту сторону креста, который жил под сенью общего вселенского предания (искаженного, но не прерванного язычеством), город, государство были прежде всего учреждением ре-

лигиозным? Это был как бы обломок общего предания, который, воплощаясь в отдельном обществе, образовался как независимый центр; это была, так сказать, ограниченная местностью и овеществленная религия»<sup>57</sup>.

Ф.И.Тютчев, как и Ф.Н.Глинка, связывал крушение традиционных христианских устоев мира с распространением материалистической философии и указывал на особую опасность ее немецких истоков. «Шестьдесят лет разрушительной философии, – отмечал он в записке Николаю I, – совершенно сокрушили в ней все христианские верования и развили в этом отрицании всякой веры первейшее революционное чувство: «высокомерие ума», развили его так успешно, что в настоящую минуту эта язва нашего века, быть может, нигде так не глубока и не заражена ядом, как в Германии»<sup>58</sup>.

Такие провидческие мысли и трагическое предчувствие надвигающихся мировых революционных катаклизмов характерны были для духовного состояния Ф.Н.Глинки и Ф.И.Тютчева, которых можно поистине считать для того времени одними «из малого, малого числа весьма зрячих и разумеющих». Основную причину возникавших в разных местах Европы роптаний и бунтарских выступлений они связывали с развитием в человеческих обществах безверия (уподобление возгордившихся своим умом людей бесам, по поэме Ф.Н.Глинки); спасение же видели в том, что подсказывала мудрость евангельской притчи об изгнании бесов (Марк, 9: 14–29). Итогом таких размышлений стало стихотворение Ф.И.Тютчева «Наш век» (10 июня 1851 г.), в котором поэт представил лаконичную характеристику своего времени:

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,*

*И человек отчаянно тоскует;*

*Он к свету рвется из ночной тени*

*И, свет обретши, роппет и бунтует.*

*Безверием палим и иссушен,*

*Невыносимое он днесь выносит!...*



*И сознает свою погибель он,*

*И жаждет веры... но о ней не просит.*

*Не скажет ввек, с молитвой и слезой,*

*Как ни скорбит пред замкнутою дверью:*

*«Впусти меня! Я верю, Боже мой!*

*Приди на помощь моему неверью!...»<sup>59</sup>.*

Может быть, поэтому одинаково скептически смотрели Ф.И.Тютчев и Ф.Н.Глинка на роль материально-технического прогресса в жизни общества. Рассуждая о завершении работ по прокладыванию Николаевской железной дороги между Москвой и Петербургом, Ф.И.Тютчев 20 августа 1851 г. писал бывшему министру народного просвещения, президенту Императорской Академии наук графу Сергею Семеновичу Уварову: «<...> Действительно, то, что Москва приблизилась к Петербургу на 15 часов езды, является не только любопытным и интересным фактом, но может по справедливости считаться важным политическим событием<sup>60</sup>. Это достойное завершение и в то же время необходимое исправление дела Петра Великого... Что до меня, я далеко не разделяю того блаженного доверия, которое питают в настоящие дни ко всем этим чисто *материальным* способам, чтобы добиться единства и осуществить согласие и единодушие в политических обществах. Все эти способы ничтожны там, где недостает принципа морального единства, и часто даже они действуют противно смыслу своего естественного назначения. Доказательством может служить то, что происходит сейчас на Западе. По мере того, как расстояния сокращаются, умы все более и более расходятся. И раз люди охвачены этим непримиримым духом раздора и борьбы – уничтожение пространства никоим образом не является услугой делу общего мира, ибо ставит их лицом к лицу друг с другом. Это все равно, что захотеть успокоить раздражение посредством трения <...>»<sup>61</sup>.

Ф.Н.Глинка посмотрел на новшество технического прогресса во все иронически – как на что-то эфемерное в истории человечества. Свое отношение к открытию железнодорожного сообщения в России он выра-

зил в стихотворении «Две дороги», написанном, по всей вероятности, после 1851 г., с характерным подзаголовком «Куплеты, сложенные от скуки в дороге». Новый вид дорожного путешествия, безусловно, привлекателен для современного человека, и старые пути вполне закономерно уступают ему место:

Шоссе поет про рок свой слезный:

*Что ж это сделал человек?!*

*Он весь поехал по железной,*

*А мне грозит железный век!..*

Предвидя поэтическим взором возможные в будущем полеты человека в воздушном пространстве, автор «Двух дорог», не располагая еще технической терминологией для их точного описания, уже предсказывает и железной дороге («чугунке») печальную участь пыльного шоссе. Но тут круг прогресса замыкается: взвившихся выше гор горделивых людей, уподобившихся языческим богам, возможно, просто «громом пришибет».

*Но рок дойдет и до чугунки:*

*Смельчак взовьется выше гор*

*И на две брошенные струнки*

*С презреньем бросит гордый взор.*

*И станет человек воздушный*

*(Плывя в воздушной полосе)*

*Смеяться и чугунке душной*

*И каменистому шоссе.*

*Так помириться же, дороги, –*

*Одна судьба обеих ждет.*

*А люди? – люди станут боги,*

*Или их громом пришибет*<sup>62</sup>.

**Насколько доверительными и духовно родственными были отношения между Ф.Н.Глинкой и Ф.И.Тютчевым, можно судить по истории, связанной с прохождением религиозной поэмы Федора Николаевича «Таинственная Капля» через духовную цензуру, а затем, после публикации в Германии, с получением разрешения на ввоз ее в Россию, на распространение и свободную продажу.**

Нужно сказать, что близкое окружение Ф.Н.Глинки принимало по возможности деятельное участие в судьбе находившегося в затворе духовной цензуры сочинения поэта. Его двоюродный брат, человек влиятельный, главный начальник горных заводов Уральского хребта Владимир Андреевич Глинка писал жене Федора Николаевича Авдотье Павловне 11 января 1852 г. из Екатеринбурга: «Обратимся и побеседуем о Божественной Капле: Вы имеете хорошие связи с людьми умными и образованными. Нельзя ли посредством их столько успеть, чтоб это чудное творение могло попасть прямо в руки к Государю или к Его Высочеству Цесаревичу. Если бы живы были князь Алекс<андр> Никол<аевич> Голицын или граф Мих<аил> Михайл<ович> Сперанский, то я совершенно уверен, что идея моя “через них” была бы исполнена. Теперь можно это дело сладить чрез Вас<илия> Андр<еевича> Жуковского, но он за границей, а когда возвратится в Россию, не ведаю. Попробуйте-ка переговорить с генерал-адъютантами Яков<ом> Иван<овичем> Ростовцевым или Владимир<ом> Иван<овичем> Назимовым; оба они близки к Государю Наследнику; – Вот Вам дорога, по которой пустите-ка в путь дивную Каплю!.. Как бы я порадовался, если бы осуществилась моя идея»<sup>63</sup>. Но как было видно из истории со все еще не напечатанным «Ивом. Свободным подражанием Священной Книге Иова», никакие самые высшие связи не могли оказать влияния на духовную цензуру.

Всякая новая попытка Федора Николаевича оказать воздействие на неприступный комитет завершалась безуспешно. «Как иерарху современной русской словесности, как человеку, соединяющему в себе все условия литератора, – писал 8 октября 1848 г. автор «Таинственной Кап-

ли» князю П.А.Вяземскому, – посылаю вам содержание моей легенды. Оставьте эту тетрадь у себя и, при досуге и терпении, прочтите ее. В этом кратком изложении найдете Вы весь ход поэтического сказания. – Теперь сочинение мое, чрез посредство А.И.Войцеховича, поступает или даже поступило уже в *духовную цензуру*. Трудно, говорят, пройти чрез этот густой и тернистый лес; что внесешь туда целым, вынесешь оттуда оборванным! – Я не знаю, впрочем, что может быть у меня *запретного*? – Цензурный Устав запрещает только говорить против Бога и Государя; у меня нет ничего ни против Бога, ни против Государя, а есть много *за Христа* и *против* сатаны: следовательно, всякий, кто захочет останавливать ход такого сочинения (т.е. бедной моей легенды), *за кого* стоять будет? – Тут немудрено сделать логический вывод. – Кажется, и духовная цензура, обязанная охранять права Христа, должна бы придерживаться подобного рассуждения. Но, не знакомая с условиями и правами светской литературы, она, пожалуй, готова выдрать страницы из Мессияды<sup>64</sup> и у самого Данта! – Во всяком случае я считаю приятнейшею обязанностью, по чинопочитанию литературному, передать Вам прилагаемое здесь содержание моего обширного стихотворения – моей легенды, которая, как бедная душа, поступает теперь в Чистилище, а потому и прошу для нее молитв и покровительства вашего»<sup>65</sup>.

22 октября Федор Николаевич в доме князя, по всей вероятности, в присутствии Ф.И. Тютчева читал отрывки из своей поэмы и, судя по последовавшему на другой день письму, остался доволен как приемом, так и произведенным впечатлением на слушателей-литераторов – «*судей полных*, мастеров своего дела». Воодушевленный успехом, поэт готов был продолжить чтения, подключив к этому «артистическому» делу и Авдотью Павловну: «Я прочел бы вчера (в тот же объем времени), может быть, и более, если б не чувствовал недостатка в помощнике: обыкновенно я читаю мою легенду пополам с своею женою. Тогда чтение идет скорее. Говорю об этом потому, что если вперед захотите прослушать другие части легенды и назначите к тому день и час, то мы уж (два странствующих артиста) явимся к Вам сам-друг – и муж и жена вместе. Тогда – в два голоса – прочтем больше и, может быть, успеем показать Вам рай, потерянный Адамом, и рай, приобретенный разбойником, и провести Вас по всем изгибам и отделениям Ада. – Не дивитесь, что чтение идет у нас ходче, когда мы – муж и жена – читаем вместе. Переписав не один раз, своею рукою, мою длинную легенду, жена моя свыклась с нею как с то-

варищем. Итак, если на будущей неделе распорядитесь чтением, к Вам явятся уже два чтеца»<sup>66</sup>.

В этом же письме Федор Николаевич еще раз обратился к влиятельному князю за помощью о содействии в продвижении рукописи поэмы через духовную цензуру, привел новые аргументы в защиту своего «вполне *литературного* произведения»: «Почтенного и, как говорят, просвещенного г-на Сербиновича<sup>67</sup> попросите только о том, чтоб он поставил г-на духовного цензора на ту точку зрения, с которой легенда является вполне *литературным* произведением, а потому и не подлежит строгостям догмы, привыкшей иметь дело с *богословскими* трактатами. Это не школьная схоластика, это просто рассказ *светского* автора. Засвидетельствуйте, пожалуйста, и о том, что картины мои *не суть перевод Евангелия* (чего они страх боятся!), а только взяты из жизни Евангельской и ни более, ни менее, как и все картины, даже иконы всех *художников*, только с тою разницею, что те писаны на холсте и дереве красками, а мои намалеваны на бумаге словами и орамлены *рифмою*. Если ж привязываться к *обстановке*, то цензура не должна пропустить и корреджировой Ночи»<sup>68</sup>. Впрочем, недавно еще напечатана книга с заглавием «Переложение в стихи разных мест Св. Писания» – сочин. Н.Фараонова. Стало быть, *дозволяют* не только живописать, но и перелагать (переводить) Писание. Да почему ж бы и не позволять?»<sup>69</sup>.

Называвший «Таинственную Каплю» «прекрасной поэмой» К.С.Сербинович, будучи редактором «Журнала Министерства народного просвещения» и влиятельным лицом в духовной цензуре, принимал непосредственное участие в судьбе этого сочинения Ф.Н.Глинки, присутствовал на чтениях отрывков из поэмы в доме князя П.А.Вяземского и, как извещал Федора Николаевича в письме от 8 февраля 1849 г., сам «прочел Его Сиятельству графу Сергию Семеновичу<sup>70</sup>: Утешитель, Суд закона и милость Благодати, Умщение ног, Гроза в храме, – которые им и одобрены»<sup>71</sup>, обсуждал сочинение писателя с преосвященным архиепископом Херсонским Иннокентием<sup>72</sup>, у которого было «семь тетрадей», видимо, с полным текстом поэмы...

**Однако «Таинственная Капля» не увидела света в России, только в 1861 г. она была напечатана в Берлине. Посылая 18 октября 1862 г. один из первых, с трудом, неофициально и тайно полученных нескольких экземпляров напечатанной на чужбине «Таинственной Капли» своему другу М.П.Погодину, Ф.Н.Глинка сообщал: «Прими-**

те, прочтите и не осудите! Не осудите и за то, что русская, сердечная речь оттиснута на чужеземном станке. С Христом в моей книге случилось то же, что и в Палестине: “К своим пришел – и свои Его не приняли!”... Теперь читают книгу в Париже (Голстой<sup>73</sup> писал, что она очень понравилась Васильеву<sup>74</sup>), в Берлине, в Висбадене, а в России нет! – Я распорядился чрез дом Шмицдорфов послать Каплю по всем славянским университетам, разумеется, бесплатно. – Бесплатно роздал бы я мое произведение и в России, да дверь крепко заперта! Едва-едва (и то всеми неправдами) могли мне переслать полдюжины экземпляров! – Моря разврата и нечестия разливаются повсюду, а бедной, благочестивой Капле места нет! – В последнем номере Сев<ерной> пчелы читаю: “Дозволяется ввоз в Россию книги (Герцен и проч.), напечатанной в Берлине”. – Вот есть же счастливицы! А я, вздыхая, повторяю слова прикупельного страдальца: “Человека не имам!”<sup>75</sup>. Отпечатанный тираж «Таинственной Капли» так и лежал в Берлине без движения, Федор Николаевич получил на руки только несколько экземпляров. Пришлось автору недозволенного для распространения в России произведения обратиться за помощью к влиятельному Ф.И.Тютчеву, направив ему вместе с письмом два тома прекрасно изданной в Германии поэмы.

Судя по всему, поэма Ф.Н.Глинки появилась в России в свободной продаже не ранее 1863 г., так как еще 24 декабря 1862 г. он сообщал Федору Ивановичу в своем письме: «С этою почтою посылаю Вашему Превосходительству книгу в двух частях. По заглавию увидите, что это «Таинственная Капля» – та самая, которую Вы имели терпение слушать и выслушать вместе с кн. П.А.Вяземским. Тогда читал рукопись Вам как поэту и владельцу стиха сильного, звучного и всегда осмысленного, и Вы, – судья в полном смысле этого слова, – почтили меня отзывом благоволительным. Теперь посылаю Русскую поэму, напечатанную в чужой стороне. От Вас зависит открыть ей дверь в отечество; ибо Вам дано право решить и вязать судьбу заграничных книг. Я рад, что это право досталось в благородные руки и поэта в душе и человека с лучами европейского просвещения. Пропустите же сиротку на родину!»<sup>76</sup>.

Публикуя фрагменты этого письма Глинки в историко-биографическом альманахе «Прометей», Е.Кузнецова истолковала обращение поэта к Ф.И.Тютчеву как просьбу «помочь снять запрещение» духовной цензуры, чтобы напечатать «Таинственную Каплю» в России<sup>77</sup>.

Такое толкование, пожалуй, ошибочно, поэтому к нему необходимо сделать некоторые замечания.

Во-первых, ко времени отправления письма Глинки поэма «Таинственная Капля» была уже напечатана, хотя и не на родине автора. Поэтому, зная скромность и нетщеславность Федора Николаевича, странно было бы ожидать от него, изрядно уставшего от многолетних бесплодных дискуссий с цензурой, что он вступает в новые тяжкие отношения с нею по поводу уже изданного (кстати, вопреки ей, нелегально) сочинения. Ф.Н.Глинка в это время уже очень деликатно и осторожно подходил к вопросам цензурного разрешения на издание своих произведений. Даже когда за публикацию «Таинственной Капли» в составе собрания сочинений поэта взялся М.П.Погодин и судьба поэмы была в руках знакомого Федору Николаевичу цензора – профессора Московского университета Петра Семеновича Казанского, – именно Глинка охлаждал пыл своего друга-издателя, старавшегося как можно быстрее подписать поэму к печати. В то время неожиданно распространились опасные скандальные слухи о свободно продававшейся в России берлинской «Таинственной Капле»: экземпляры ее были обнаружены у сектантов скопцов, против которых велось судебное следствие. Ф.Н.Глинка разделял опасения П.С.Казанского, что как бы книга «по напечатании не подверглась конфискации, что отзовется горько на судьбе цензора и издания», и на письме Петра Семеновича к М.П.Погодину от 6 апреля 1870 г. сделал собственноручную дописку: «И я прошу *повременить*, остановиться, сождать, пока пронесется туман дурманы и здравый смысл возьмет верх! – *Не печатать!* Ф.Глинка»<sup>78</sup>. В это время поэт выносит уже очень лояльные определения в адрес цензуры, пытается даже оправдать ее запретительные решения по отношению к «Таинственной Капле». В черновом варианте одного из писем к князю П.А.Вяземскому Глинка отметил: «Цензура той эпохи (по небывалости у нас *религиозной поэмы*) затруднялась пропустить рукопись, которая потому и была напечатана в Берлине»<sup>79</sup>.

Во-вторых, Е.Кузнецова напрасно опустила в своей публикации весьма важное в этой ситуации напоминание Глинки Тютчеву: «...Вам дано право решить и вязать судьбу заграничных книг». Дело в том, что 17 апреля 1858 г. Федор Иванович был назначен «председателем Комитета цензуры **иностранный**» (подчеркнуто мной. – В.З.)<sup>80</sup>, а не просто «председателем цензурного комитета», как указала в своей публикации Е.Кузнецова. Ф.Н.Глинка в наброске письма к П.А.Вяземскому раскрыл всю тайну, заключенную в его словах о поэме-сиротке, указав непосред-

ственно, что она «старанием Ф.И.Тютчева разрешена для России и комитетом общей цензуры одобрена и поступила уже к книгопродавцам»<sup>81</sup>.

И в-третьих, что касается «Таинственной Капли», то она ведь действительно являлась «заграничной книгой», так как была издана хотя и на русском языке, но за границей – в Германии, без российского цензурного на то разрешения, в результате чего и оказалась «сироткою» на чужбине. Для «въезда» в Россию ей как раз и нужен был «пропуск» ведомства, которым руководил Ф.И.Тютчев.

Возглавляя Комитет цензуры иностранной, Ф.И.Тютчев вновь осмысливает вопрос о том, почему же возможны были революционные изгибы в истории старой Европы. В «Отчете о действиях иностранной цензуры за 1863 год» он отмечал: «<...> В 40-х и 50-х годах, когда умы на Западе сильно волновались, иностранная литература представляла борьбу крайне враждебных убеждений в религии, философии и политике. Волнение тогда было возбуждено такими политическими волнениями, как напр. низложением Людовика-Филиппа, провозглашением республики, общим брожением германских народов, восстанием Венгрии, *Сoup d'Etat*<sup>82</sup>, новой империей и наконец Восточной войной. Нельзя отвергать и то, что такие политические события были подготовлены литературою, потому что учение Фейербаха, Штрауса, Луи-Блана, Прудона, идеи Ламартина, Гейне и образовавшаяся в Германии школа рационалистов и материалистов не могли не поколебать основания заграничного общества. Новые теории и учения пустили свои корни в литературу, и западный человек, начитавшись новых идей в романах, повестях и газетах, должен был после тяжких уроков убедиться, что революция в церкви и государстве не спасение, а страшный недуг и язва для человеческого рода»<sup>83</sup>.

Что касается «сочинений религиозных, с полемическим направлением против Библии, личности Спасителя, коренных христианских верований и догматов Православия», то Ф.И.Тютчев указывал в отчете: «Такого рода положительно вредных сочинений Комитет Цензуры иностранной подверг 44 названия запрещению. Цифра эта довольно знаменательная для духа нашего времени; она доказывает, что на Западе настала для общества новая опасность, грозящая отнять у человека самые дорогие и заветные верования»<sup>84</sup>. Среди особенно вредных для духовного мира человека книг он называл повествования о жизни Иисуса Христа, принадлежащие Э.Ренану и Д.Ф.Штраусу. Кстати, здесь руководитель Комитета цензуры иностранной вторил ранее высказанным отрицательным мнениям Ф.Н.Глинки об этих трудах.



Конечно, духовные связи двух столь ярких и значительных представителей русской литературы XIX в. не исчерпываются намеченными здесь пунктирами. Нужно надеяться, что открытие новых документальных источников и биографических фактов пересечения жизненного и творческого путей Ф.И.Тютчева и Ф.Н.Глинки позволят глубже понять их ровные, почти полувекковые взаимоотношения, непременно поддерживавшиеся на уровне почтения и дружбы, эстетической и интеллектуально-духовной обоюдной симпатии.

Приложения

Ф.Н.Глинка

Ф.И. Т.<Ю>ТЧ.<Е>ВУ<sup>85</sup>

1849

1.

Как странно ныне видеть *зрящему*  
Дела людей:  
Дались мы в рабство *настоящему*  
Душою всей!

2.

Глядим, порою, на минувшее,  
Но холодно!  
Как обещанье обманувшее  
Для нас оно!..

3.

Глядим на грозное<sup>86</sup> *грядущее*,  
Прищуря глаз,  
И не домыслимся, что *сущее*  
Морочит нас!..

4.

Разладив с вещью сердечностью,  
Кичась умом,  
Ведем с какой-то мы беспечностью  
Свой ветхий<sup>87</sup> дом.

5.

А между тем под нами роются  
В изгибах нор,

**И за стеной у нас уж строятся:  
Стучит топор!..**

**6.**

**А мы, втеснившись в *настоящее*,  
Все жмемся в нем,  
И говорим: «Иди, грозящее,  
Своим путем!..»...**

**7.**

**Но в сердце есть отломок зеркала:  
В нем видим мы,  
Что порча страшно исковеркала  
У всех умы!!**

**8.**

**Замкнули речи все столетия  
В своих шкафах;  
А нам остались междуметия:  
«Увы!» да «Ах!»**

**9.**

**Но принял не напрасно дикое  
Лице Пророк:  
Он видит – близится *великое*,  
И близок срок!**

#### ПИСЬМО Ф.И.ТЮТЧЕВА К Ф.Н.ГЛИНКЕ<sup>88</sup>

Почтеннейший Федор Николаевич,  
много вы утешили меня письмом вашим. Душевно рад, что статья вам понравилась. Впрочем, – простите мне самолюбивое признание – я и не сомневался в вашем сочувствии и одобрении. Вы из малого, малого числа весьма зрячих и понимающих.

Не на Западе – поверьте мне – все эти горькие, противные веку истины встретят совершенное, безусловное непонимание, – а здесь, в так называемом образованном кругу нашего отечественного общества. На Западе, – слишком поздно, может быть, для его спасения, но не поздно для истины – найдутся многие самостоятельные умы, которые, вопреки

вековым предрассудкам, не откажут в сочувствии и Русской мысли, – но для русских, охмелившихся на чужом пиру, она недоступнее, чем для кого-либо.

И вот почему все, что теперь ни совершается на Западе, этот окончательный кризис тысячелетнего уклонения – все это для нашего образованного люда – не что иное, как тарабарская грамота. И как хотеть, чтобы там, где сам учитель стал в тупик, несчастный школьник совершенно не растерялся!..

Стихи ваши, как и все ваши стихи, я читал с особенным наслаждением. В вас Русский язык живет и дышит, между тем как почти для всей нашей современной литерат<уры> он сделался каким-то мертвым, переводным языком, – для чего бы Вам их не напечатать.

За сим, прося вас о передаче моего усердия почтеннейшей супруге вашей, поручаю себя вашему дружескому расположению.

*Ф.Тютчев*

16 февраля 1850.

#### ПИСЬМО Ф.Н.ГЛИНКИ К Ф.И.ТЮТЧЕВУ<sup>89</sup>

24-го дек<абря> 1862.

Милостивый Государь,  
Федор Иванович!

С этою почтою посылаю Вашему Превосходительству книгу в двух частях. По заглавию увидите, что это «Таинственная Капля» – та самая, которую Вы имели терпение слушать и выслушать вместе с кн. П.А.Вяземским.

Тогда читал я рукопись Вам, как поэту и владельцу стиха сильного, звучного и всегда осмысленного, и Вы, – судья в полном смысле этого слова, – почтили меня отзывом благоволительным. Теперь посылаю Русскую поэму, напечатанную в чужой стороне. От Вас зависит открыть ей дверь в отечество; ибо Вам дано право решить и вязать судьбу заграничных книг. Я рад, что это право досталось в благородные руки и поэта в душе, и человека с лучами европейского просвещения. Пропустите же сиротку на родину! – За глубокое к Вам уважение, за полную веру к Вам и в Вас, я надеюсь, что Вы не откажетесь действовать и содействовать.

Если же придется мне обмануться и в Вас, если и Вы, Федор Иванович! – с равнодушием застывающей современности, – оттолкнете мою покорную просьбу, то мне страшно станет за человека! – Но я уверен, что ничто не могло и не может погасить священного огня в поэтической душе Вашей и по этой уверенности мой заветный экземпляр, мое заветное *литературное произведение* передаю в теплые Ваши руки. С этим вместе передает Вам и уверение в своем глубоком к Вам уважении и совершенной преданности всегда покорно усердный слуга и почитатель Ваш

*Федор Глинка*

Город Тверь.

Собственный дом г-на Глинки.

### Примечания

1. См.: *Сухова И.П.* Поэзия Фета в формалистическом аспекте // Русская литература в оценке современной зарубежной критики. – М., 1973. – С. 131.
2. *Динесман Т.Г.* О датировках и адресатах некоторых стихотворений Тютчева // Летопись жизни и творчества Ф.И.Тютчева. – Кн. 1: 1803–1844. – Музей-усадьба «Мураново» имени Ф.И.Тютчева, 1999. – С. 285.
3. *Кожин В.В.* О тютчевской плеяде поэтов // Поэты тютчевской плеяды / Составители В. Кожин, Е. Кузнецова. – М., 1982. – С. 14.
4. Там же. – С. 12.
5. *Кузнецова Е.* Федор Николаевич Глинка // Поэты тютчевской плеяды. – С. 188–189.
6. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 35а. – Л. 42–42 об.
7. Там же. – Л. 43 об.
8. *Пигарев К.В.* Жизнь и творчество Тютчева. – М., 1962. – С. 26.
9. Цит. по: *Тютчев Ф.И.* Стихотворения. Письма. Воспоминания современников / Составление Л.Н.Кузиной; вступит. статья и комментарии Л.Н.Кузиной и К.В.Пигарева. – М., 1988. – С. 383–384.
10. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 421. – Л. 1.
11. *Костин В.И.* Декабрист Федор Николаевич Глинка: Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – С. 4.
12. Цит. по: Восстание декабристов: Документы. – Т. XX: Дела Верховного уголовного суда и Следственной комиссии / Под ред. *А.Н. Сахарова*. – М., 2001. – С. 101.
13. Там же. – С. 105.
14. Там же. – С. 106.
15. Там же. – С. 122–123.
16. Там же. – С. 130.
17. См.: *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. – Т. 1: Стихотворения 1813–1849 / Сост., подготовка текстов, комментарии *В.Н.Касаткиной*. – М., 2002. – С. 313.
18. *Глинка Ф.Н.* Письма к другу / Сост., вступит. ст. и комментарии *В.П.Зверева*. – М., 1990. – С. 480.
19. См.: Летопись жизни и творчества Ф.И.Тютчева. – Кн. 1. – С. 67–68.

20. *Тютчев Ф.И.* Русская звезда: Стихи, статьи, письма / Сост., вступит. ст. и комментарии *В.Кочеткова.* – М., 1993. – С. 318.
21. Там же. – С. 354–355.
22. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П.Погодина: В 22 кн. – Кн. 8. – СПб., 1894. – С. 518.
23. Там же.
24. *Сушков Николай Васильевич (1796–1871)* – муж Дарьи Ивановны (урожд. Тютчевой), в 1838–1841 гг. был минским губернатором.
25. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П.Погодина. – Кн. 8. – С. 518–519.
26. *Тютчев Ф.И.* Русская звезда: Стихи, статьи, письма. – С. 498.
27. ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Ед. хр. 1075. – Л. 66–66 об.
28. *Тютчев Ф.И.* Русская звезда: Стихи, статьи, письма. – С. 401.
29. НИОР РГБ. Ф. 103. К. 1033а. Ед. хр. 9. – Л. 1, 3.
30. Цит. по: *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. – Т. 2. – М., 1991. – С. 480.
31. Вероятно, П.Я.Чаадаев имел в виду книгу митрополита Московского Филарета «Слово к московской пастве» (СПб., 1822), находившуюся в библиотеке Ф.Н.Глинки. См.: Журнал 71-го заседания Тверской Ученой архивной комиссии 14 июля 1899 г. (Приложение. – С. 20, позиция 7 раздела «Богословие и философия»).
32. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 438. – Л. 1.
33. Там же. – Л. 2.
34. Ф.И. Тютчев намекает на шутку В.А.Жуковского, сказавшего о доме П.Я.Чаадаева, что он «давным-давно уже держится не на столбах, а одним только духом» (Вестник Европы. – 1871. – Кн. 9. – С. 21).
35. Неизданные письма Тютчева и к Тютчеву / Сообщения *П.Кириллова, Е.Павловой и Д.Шаховского* // Литературное наследство. – М., 1935. – Т. 19–21. – С. 584.
36. См.: Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. – М., 1999. – С. 275–278.
37. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 5. – Л. 2.
38. Там же. – Л. 2 об.
39. Там же. – Л. 14.
40. Там же. – Л. 14 об.
41. Там же. – Л. 14 об.–15.
42. См.: Отк. 2, 6–15.
43. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 5. – Л. 15–15 об.
44. Там же. – Л. 17 об.
45. *Грессе Жан-Батист-Луи (1709–1777)* – французский поэт и драматург, автор популярной комической эпопеи «Зеленый-Зеленый» («Vert-Vert») о приключениях благочестивого попугая, воспитанного в женском монастыре; обратившись к христианской вере, сойдясь с духовенством, в 1759 г. Грессе выступил с открытым письмом, в котором отрекся от своей литературной деятельности и от поэзии вообще.
46. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 5. – Л. 1 об., 3. Предисловия к поэме в рукописи представлены в черновом варианте с большой правкой и фрагментарностью записей, поэтому текст, начатый Ф.Н. Глинкой на л. 1 об., продолжается на л. 3. Внизу л. 3 находится любопытная и имеющая непосредственное отношение к основному содержанию поэмы сноска, которую Федор Николаевич почему-то зачеркнул: «При тщательном рассмотрении дела нельзя не согласиться, что наш век страждет не от *незнания*, а, напротив, от *многознания* и от того, что этому *пестрому многознанию* дано *худое* направление».
47. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 5. – Л. 13–13 об.
48. Там же. – Л. 13 об.

49. Там же. – Л. 15–15 об.
50. Там же. – Л. 17–17 об.
51. Речь идет о сражении 11 мая 1745 г. близ бельгийского селения Фонтенуа времен англо-французской войны 1744–1748 гг., когда французы под руководством маршала Морица Саксонского разбили англо-голландские войска.
52. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 5. – Л. 17 об.
53. Там же.
54. *Тютчев Ф.И.* Русская звезда: Стихи, статьи, письма. – С. 272.
55. Там же. – С. 273.
56. Там же. – С. 273–274.
57. Там же. – С. 290–291.
58. Там же. – С. 276.
59. *Тютчев Ф.И.* Лирика: В 2 т. / Издание подготовил *К.В.Пигарев.* – Т. 1. – М., 1966. – С. 136.
60. Официальное открытие железнодорожного сообщения между Петербургом и Москвой состоялось 1 ноября 1851 г.
61. Неизданные письма Тютчева и к Тютчеву. – С. 582.
62. *Глинка Ф.Н.* Избранные произведения / Вступит. ст., подготовка текста и примечания *В.Г.Базанова.* – Л., 1957. – С. 444–445.
63. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 546. – Л. 7 об. – 8.
64. «Мессиада» (рус. перевод 1785–1787) – популярная в России в конце XVIII – первой половине XIX в. религиозная поэма немецкого писателя Фридриха Готтлиба Клопштока.
65. РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1731. – Л. 10–11.
66. Там же. – Л. 12–12 об.
67. *Сербинович Константин Степанович (1795–1874)* – тайный советник, с 24 апреля по 2 июня 1826 г. состоял членом Секретной следственной комиссии о злоумышленных обществах (по делу декабристов); с 17 октября 1836 г. первый директор канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода и член хозяйственного комитета при Святейшем Синоде; в 1833–1856 гг. редактор «Журнала Министерства народного просвещения»; с 1850 г. назначен членом Главного цензурного управления, а с 1851 – членом Секретного комитета для наблюдения за действиями духовной цензуры. «В духовном ведомстве в 1836–1859 годах не решалось ни одного более или менее важного дела и вопроса без участия Сербиновича в нем» (*Здравомыслов К.* Сербинович Константин Степанович // *Русский биографический словарь.* – Т. 24: Сабанеев – Смыслов. – СПб., 1904 (репринтное издание – М., 1999). – С. 349).
68. Речь идет о картине итальянского художника Корреджо (прозвище Антонио Аллегри, 1489?–1534) «Ночь», или «Поклонение волхвов», хранящейся в Дрезденской картинной галерее. В апреле 1813 г. во время военного заграничного похода Ф.Н.Глинка был в Дрездене и несколько раз посещал знаменитое собрание мировой живописи. Но ему так и не удалось увидеть знаменитую картину, считавшуюся образцом «искусства *освещать картины*»: она была увезена вместе с другим шедевром итальянского мастера «Магдалиной» из галереи «от французов в Кенигштейн» (См.: *Глинка Ф.Н.* Письма русского офицера. – М., 1987. – С. 86, 92).
69. РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1731. – Л. 12 об.–13.
70. *Уваров Сергей Семенович (1786–1855)* – действительный тайный советник; в 1810-х – начале 1820-х годов один из инициаторов создания литературного общества «Арзамас», в круг его общения входили К.Н.Батюшков, Н.М.Карамзин, А.С.Пушкин, Н.И.Гнедич, А.И. и Н.И.Тургеневы, с которыми хорошо был знаком и Ф.Н.Глинка; во время дипломатической службы в 1805–1809 гг. общался с Гёте, братьями Гумбольдта-

- ми, мадам де Сталь... С марта 1833 по октябрь 1849 г. – управляющий министерством, а затем министр народного просвещения; в июле 1846 г. возведен в графское Российской Империи достоинство.
71. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 392. – Л. 1.
72. *Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич, 1800–1857)* – архиепископ Херсонский и Таврический, отличался ораторским талантом и обширностью своих знаний, известный богослов и проповедник. Ф.Н.Глинка состоял с ним в переписке и отправлял на его суд многие свои духовные сочинения.
73. *Толстой Яков Николаевич (1791–1867)* – тайный советник; участник Отечественной войны 1812 года; с 1821 г. назначен старшим адъютантом Главного штаба; в конце апреля 1823 г., взяв заграничный отпуск для излечения болезни ног, отправился в Париж, где оставался до 1837 г., не решаясь вернуться по окончании отпуска в Россию в связи с событиями декабря 1825 г., так как являлся членом «Союза общественного благоденствия». Добившись официального прощения, был вызван в Петербург и 29 января 1837 г., по представлению А.Х.Бенкендорфа, назначен корреспондентом Министерства народного просвещения в Париже, с 29 декабря 1848 г. причислен к русскому посольству в Париже в чине статского советника; скончался в Париже «в полном одиночестве», похоронен на кладбище Pere-Lachaise.
74. *Васильев Иосиф Васильевич (1821–1881)* – митрофорный протонерей; выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, с 1845 г. настоятель церкви при русском посольстве в Париже, «был бдительным стражем, охранявшим не только целостность православной паствы, но и достоинство Восточной Церкви», «придавал большое значение ознакомлению западного общества с православным богослужением». «С этой целью он обставил особою торжественностью освящение Парижской церкви, совершившееся 30 августа 1861 г.». С 1867 г. председатель Учебного комитета при Святейшем Синоде. См.: *Шереметевский В. Васильев Иосиф Васильевич // Русский биографический словарь. – Т. 1 (дополнительный): Вавила – Витгенштейн. – М., 2000. – С. 264–275.*
75. НИОР РГБ. Ф. 231/II. П. 8 Ед. хр. 21 (5). – Л. 41 об.–42.
76. РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 82. – Л. 1–1 об.
77. *Кузнецова Е.* Письмо Ф.И.Тютчева к Ф.Н.Глинке // Прометей. – Т. 13. – М., 1983. – С. 340.
78. РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Ед. хр. 162. – Л. 8 об.
79. Там же. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 211. – Л. 13 об.
80. См.: Краткий хронограф жизни Ф.И. Тютчева // *Тютчев Ф.И.* Лирика: В 2 т. – Т. 1. – С. 332.
81. РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 141. – Л. 13 об.
82. Государственный переворот (*франц.*).
83. Ф.И.Тютчев в Комитете цензуры иностранной / Сообщение *М.Брискмана* // Литературное наследство. – Т. 19–21. – С. 571–572.
84. Там же. – С. 572.
85. Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 52. – Л. 31 об. – 32 об. Впервые опубликовано с незначительными различиями оформления текста: *Глинка Ф.Н.* Сочинения. – Т.1: Духовные стихотворения. – М.: Тип. газеты «Русский», 1869. – С. 482–483.
86. Первоначально было: И на огромное.
87. Первоначально было: отцовский.
88. Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 421. – Л. 1–1 об.
89. Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. Хр. 82. – Л. 1–2.



Главный редактор  
*А.Н.Николюкин*

Редакция:

*В.Н.Аношкина, О.А.Коростелёв, Е.А.Цурганова,  
Т.Г.Юрченко (ответственный секретарь)*

Редакционная коллегия:

*В.В.Агеносов, М.А.Айвазян, В.Н.Аношкина, П.П.Апрышко, И.Л.Волгин,  
И.Л.Галинская, М.Л.Гаспаров, Н.В.Королёва, Ю.Г.Круглов, Б.А.Ланин,  
Ю.Д.Левин, А.С.Мулярчик, А.Н.Сенкевич, В.Д.Сквозников,  
Л.В.Скворцов, Л.А.Смирнова, В.М.Толмачёв, Р.И.Хлодовский,  
А.И.Чагин, Е.П.Чельшев*

Художник *В.Д.Дольский*  
Корректор *Н.С.Сотникова*

В оформлении рубрики «Заметки Кота Учёного» использована гравюра из книги Конрада Геснера «История животных» (1551)

Свидетельство о регистрации журнала № 003610 от 25.02.2000  
Адрес редакции: 117418, Москва, Нахимовский просп., 51/21,  
ИНИОН РАН

© Литературоведческий журнал, 2004. Научное издание  
© ИНИОН РАН, 2004